

ИСТОРИЯ

А. Л. Янов

★
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ
КОНСЕРВАТИВНОЙ МЫСЛИ
XV - XVIII
СТОЛЕТИЙ

"Часы" № 25, 26

КНИГА ПЕРВАЯ

АБСОЛЮТИСТСКОЕ СТОЛЕТИЕ

1462 - 1564 г.г.

Глава третья. Абсолютистское столетие.

§1. Исходное представление

О России XV. века широко распространено представление, как об узкой подковке, зажатой между литовским молотом и татарской наковальной, запертой на скудном пятакке Северо-Восточной Руси и раздираемой вдобавок на части феодальными распрями. Словом, как о чем-то подобной древней Иудее, зажатой между борющимися колоссами — Ассирией и Египтом.

Очень важно для философии истории это исходное представление, ибо именно оно диктует исследователю гипотетические программы государственной политики, подсказывает ее глобальные цели и общую окраску интерпретации, тот самый тон ее, который и делает, как говорят, музыку. Ясно же, что если страна действительно находится перманентно на своего рода осадном положении, если речь каждую минуту идет о жизни ее и смерти, о самом национальном существовании, то откуда сами собой напрашиваются и тотальная милитаризация, и деспотические замашки государей, и прочие популярные ужасы: на войне, как на войне....

Подобного представления держался, между прочим, даже Г.В. Плеханов, опираясь при этом на такого авторитетного историка, как знаменитый первооткрыватель русского феодализма Н.П. Павлов-Сильванский. Вот что пишет Плеханов по этому поводу в своей "Истории русской общественной мысли": "Прежде, чем идти дальше, полезно подвести итог всему тому, что мы узнали о московских порядках. Не менее полезно выразить этот итог словами того исследователя, который своей работой о феодализме в древней Руси нанес один из самых сильных ударов славянофильской теории нашей абсолютной самобытности." Основным началом русского общественного строя московского времени было полное подчинение личности интересам государства. Внешние обстоятельства жизни Московской Руси, ее упорная борьба за существование с восточными и западными соседями требовали крайнего напряжения народных сил. В обществе развито было сознание о первейшей обязаннос-

ти каждого подданного служить государству по мере сил и жертвовать собою для защиты русской земли... Служилый человек обязан нести ратную службу в течение всей своей жизни и "биться до смерти с ногайскими и немецкими людьми, не щадя живота". Посадские люди и волостные крестьяне должны жертвовать своим достоянием для помощи ратным людям. Все классы населения прикреплены к службе и тяглу, чтобы "каждый в своем крепостном уставе и в царском повелении стоял твердо и непоколебимо."

Внимательный читатель без труда, должно быть, заметит, как одной рукой беспощадно разрушая "славянофильскую теорию нашей абсолютной самобытности", Пеханов — вместе с Павловым-Сильвинским — нечаянно подводят здесь под эту самую теорию новый и куда более мощный фундамент. Разница — ведь получается только в том, что славянофилы в основу "нашей абсолютной самобытности" положили традицию народно-демократической монархии, а их оппоненты — традицию государственного крепостничества.

Но, увы, абсолютная самобытность, по крайней мере в политическом смысле, исправно продолжала фигурировать и там и тут: ведь Запад в равной степени не знал ни народной монархии, ни государственного крепостничества...

Но оставим пока в стороне логическое противоречие наших "западников" и присмотримся к их исходному представлению, к тому, чем мотивируют они эту страшную "самобытность". "Упорная борьба за существование", "защита русской земли", **с а м о з а щ и т а** — вот ее корень, не правда ли?

Но верно ли это представление?

Послушаем-ка не менее авторитетного в этих делах С.М. Соловьева: "относительно бедствий политических и физических должно заметить, что для областей, доставшихся Иоанну в наследство от отца, его правление было ~~поныне~~ самым спокойным, самым счастливым временем: татарские нападения касались только границ; но этих нападений было очень немного, вред, ими причиненный, очень незначителен; восстание братьев великокняжеских только напугало народ; остальные войны

были наступательные со стороны Москвы: враг не показывался в пределах постоянно торжествующего государства".

Иначе говоря, Соловьев утверждает, что действительные фундаментальные предпосылки политической стратегии Руси XV века ровно ничего общего не имеют с мрачной картиной, созданной Плехановым и Павловым-Сильванским. Более того, — все обстояло как раз наоборот: никогда положение юной державы не было так благополучно и благоприятно, как в эту пору первого ее цветения.

И — самое главное! — пребывала она вовсе не в защите, а в наступлении... Вот вам две противостоящих друг другу концепции. Кому верить?

А может, лучше попытаемся разобраться самим? Тем более, что есть для этого, кажется, один, хотя и частный, но в высшей степени репрезентативный способ.

"Право отъезда" вольных слуг княжеских, "отказ" их и свободный договорный переход к другому, более удачливому и сильному или более справедливому лидеру были, как мы уже знаем, "краеугольным камнем боярских вольностей", древней и мощной политической традицией, ограничивавшей произвол власти. Но это драгоценное свойство "отказа" важно было, естественно, не столько для историка, сколько для самих бояр и для общества, в котором они жили.

Для историка же важнее другое его свойство. А именно то, что он может служить превосходным и вполне объективным барометром благополучия и перспективности того или иного сюзерена. По тому, куда и откуда направлен был этот стихийный, но чуткий поток миграции, в чью сторону устремлено было его острие, мы можем с большой степенью точности судить, у кого дела были хороши, а у кого так себе. Для социолога, изучающего миграцию, это бесценный и ничем не заменимый источник, который дает, между прочим, редкую возможность применить количественные методы к историческому анализу. — Удивления достойно, почему так равнодушны к нему современные историки. Ведь все различие в программах Ивана III и Ивана IV отразилось в нем, как в зеркале. Посмотрим же, что

может он дать нам для понимания политической стратегии Руси XV века.

Литовский сосед Ивана III великий князь Казимир был большим дипломат. Серией глубоких и блестяще задуманных интриг он добился того, что после ~~А~~ его смерти сыновья его, Казимировичи, заняли один за другим четыре среднеевропейских престола: польский, чешский и венгерский, не говоря о литовском, на котором уселся зять Ивана III — Александр Казимирович, впоследствии король польский.

Это был самый большой успех Литвы за всю ее историю, эпоха, когда она на короткий срок могла, казалось, стать великою державою. Я не говорю уже о том, что вольности литовских панов не шли ни в какое сравнение с устойчивым, но все-таки скромным положением русских бояр: как никак Иван III был абсолютным монархом, его недаром прозвали Грозным, когда не подозревали еще, что такое на самом деле грозный царь...

С.М.Соловьев с большой иронией описывает эту разницу в положении политической элиты. "Иоанн московский объявил, что он волен в своих великих княжествах: кому хочет, тому их и отдаст; по смерти Казимира литовского сын его Александр писал князьям и панам Волынской земли, что паны-Рада... заблагорассудили оставить его, Александра в Литве и на Руси на то время, пока не выберут великого князя..."

Итак, Литва была могущественна как никогда, и бояре были в ней, как никогда, влиятельны. И что же? Куда обращено было острие миграции: к ней или на Москву? Кто требовал наказания "отъедчиков", кто клеймил их "изменниками", "зрадцами", кто угрозами и мольбами добивался договора, юридического оформления беззаконности боярского "отказа", москвичи или литовцы?

Князья Воротынские, Вяземские, Одоевские, Бельские, Перемышльские, Новосильские, Глинские, Мезецкие, — имя им легион — это все удачливые беглецы из Литвы в Москву. Были и неудачливые. В 1482 г. большие литовские паны-Ольшанский, Оленкович и Бельский собирались "отсести" на Москву. Король

успех, "Ольшанского стял да Оленковича", убежал один Федор Бельский. Удивительно, ли, что так зол был литовский владетель на "зраду"? В 1496 г. он горько жаловался московскому государю: "князи Вяземские и Мезецкие наши были слуги, а зрадивши нас присяги свои, и втекли до твоея земли, как те лихие люди; а ко мне бы втекли, от нас не того бы заслужили, как той зрадцы". Королевская душа жаждала равнoprавия, я бы, — говорит король, — головы с плеч снимал твоим "зрадцам", если бы "втекли" они ко мне. Но в том-то и беда его была, что не к нему они "втекали"...

А московское правительство, наоборот, изошрялось в подыскании оправдательных аргументов для королевских "зрадцев", оно их ласково и приветствовало, королю не выдавало и никакой измены в действиях их тогда не усматривало.

В 1504 г. перебежал в Москву пан Остафей Дашкович со многими дворянами. Литва потребовала их выдачи, ссылаясь на договор 1503 г., якобы обусловивший "на обе стороны не приимати зрадцы, беглеца, лихих людей". Москва хитроумно и издевательски отвечала, что в тексте договора сказано буквально: "тата, беглеца, холопа, робу, должника по исправе выдачи", а разве великий пан тать или холоп или лихой-человек? Напротив, "Остафей же Дашкович у короля был метной человек и воевода бывал, а лихова имени про него не слыхали никакова и держанья имел от него великие города, а к нам приехал служить добровольно, не учинив никакой шкоды"...

Видите, как стояла тогда Москва за добровольность отъезда. Раз беглец не учинил никакой шкоды, т.е. сбежал не от уголовного преследования, а по политическим мотивам, он для тогдашней Москвы — человек чистый, достойный и никакой не изменник.

Более того, Москва принципиально и даже с большим либеральным пафосом настаивала на праве личного политического выбора. На том, что не только в ее прежних договорах с Литвою никаких ограничений для отъезда не было, но и быть их не могло, ибо, как писал Иван III, "и наперед того при

нас и при наших предках и при его /великого князя литовского/ предках меж нас на обе стороны люди ездили без отказа". Мы уже знаем, что более сильного юридического аргумента, нежели ссылка на "старину", в средневековье не существовало...

Итак, — комментировал в 1889 г. это положение вещей М. Дьяконов, — в конце XV и в начале XVI веков литовское правительство всеми мерами добивается установить в договорах с Москвой самые строгие меры относительно отъездчиков, а московское правительство не только не соглашается на такие меры, но даже провозглашает начало полной свободы отъездов... Это различие правительственных мнений имело лишь одно основание: в указанное время Литва гораздо больше потеряла своих слуг, чем приобрела, тогда как Москва, наоборот, значительно увеличила свои служебные силы за счет выходцев из Литвы."

Стрелка миграции недвусмысленно и бесспорно указывала в эпоху Ивана III на Москву. Литва падала, а Москва поднималась — вот о чем столь же бесспорно говорит этот мощный стихийный социальный процесс. Государственный корабль Литвы тонет — при всем своем внешнем могуществе и великолении — и крысы бегут с него наперегонки. И бегут не в Польшу, не в Швецию, не в Чехию, а в Москву. Может ли существовать более объективное свидетельство внутреннего здоровья и блестящих перспектив, открывавшихся тогда переживавшей Москву?

Другое дело, что стоило Грозному поломать эти перспективы, стоило ему терроризировать страну опричниной и преобразовать только-только складывавшийся абсолютизм в автократию, как все, словно по волшебству, переменялось. И стрелка миграции поворачивается на 180 градусов, и "отъездчики" по политическим мотивам становятся "изменниками" в глазах Москвы и вполне почтенными людьми в глазах Вильно!

Москва теперь кипит злобой к "изменникам", громогласно провозглашает, что "во всей вселенной кто беглеца прии-

мает, тот с ним вместе неправ живет".

А король, исполненный либерализма и гуманных чувств, о "зраде" больше и не вспоминает. Он не без злорадства поучает Грозного, что "таковых людей, которые, отчизны оставивши, от зневоленья и кровопролития горла свои уносят" пожалеть нужно, а не казнить. И вообще беглецов "в зневоление приводить, и кого бог от смерти внесет — выдавати" недостойно, оказывается, христианского государя.

Словом, как резюмирует тот же М. Дьяконов, "обстоятельства круто изменились: почти непрерывной вереницей отъездики тянутся из Москвы в Литву. Соответственно этому видоизменились и взгляды московских и литовских правительственных сфер". Теперь тонут московский государственный корабль — и крысы столь же исправно потянулись с него. Они знали, что делали: Москве предстояли долгие десятилетия упадка, провинциальной мерзости и запустения. Акции ее на международной миграционной бирже упали до нуля.

Мыслимо ли более объективное доказательство переворота, совершенного на Москве Грозным, переворота, изменившего самые судьбы страны? Мыслимо ли более подлинное свидетельство того, что дело Ивана III было сломлено, магнитные свойства державы, притягивавшей к себе лучшие государственные и интеллектуальные ресурсы сопредельных стран, утрачены? — Отныне Москва целое столетие будет влечь к себе лишь авантюристов, спекулянтов и завоевателей.

Но все это будет позднее, век спустя, а пока мы в XV столетии, в средоточии державы здоровой, растущей, способной думать о будущем, а не только о выгодах данной минуты и сегодняшней социальной элите.

Я не говорю уже о том, что держава эта была так сильна, что не она зависела от своих восточных соседей, некогда грозных татар, а сама содержала на жалованье татарских царевичей со всем их скарбом и "людишками"; что сумела посадить на престол казанской орды своего человека; что последний хан Золотой орды Ахмат, посмеявшийся поднять меч на Москву, бесславно сложил свою голову в ногайских стенах от та-

тарской же сабли; что не Литва наступала на Москву, а Москва на Литву и — после ряда блестящих побед — отняла у нее 70 волостей и 19 городов, в том числе Чернигов, Гомель, Брянск и Путивль; что сын германского императора Максимилиан сватался к дочери Ивана III, а внук московского государя Дмитрий впервые венчан был 4 февраля 1498 г. по царскому обряду, и дед возложил на него знаменитую впоследствии шапку Мономаха.

Таково было внешнеполитическое положение Москвы в исходе царствования Ивана III. И пусть теперь читатель сам судит, походит ли оно хоть сколько-нибудь на стереотипное представление, с описания которого начали мы эту главу.

Не было литовского молота и татарской наковальни — соседи Москвы были исторически обречены и практически бессильны. Не было осадного положения — и не было, следовательно, нужды ни в тотальной милитаризации, ни в военном деспотизме. Национальному существованию Москвы не только ничего не угрожало, она сама угрожала национальному существованию соседей.

Не прошло и столетия, как пали от ее руки и Казань, и Ливония, и, не будь столь бездарна политика Грозного, не протянула бы еще два века, мучительно агонизируя, Литва, не удержался бы и хан за Перекопом. Уже в конце XVI века Москва могла стать величайшей европейской абсолютистской державой. Во всяком случае все объективные предпосылки для этого были налицо.

Но отсюда вытекает логически и еще один основополагающий вывод: не было в XV-XVI веках, в начале государственного существования России, никакой генетически-запрограммированной на восточный деспотизм и тотальное закрепощение личности стратегии московской Руси. Не было такого фатального импульса ни византийского, ни татарского, ни продиктованного "упорной борьбой за национальное существование"!

Была борьба различных социально-политических программ, борьба, которая складывалась с переменным успехом, давая преимущество то абсолютистскому компромиссу, то автократи-

ческому экстремизму. Да, второй победил в конечном счете, сломил абсолютистскую программу, превратив ее в оппозицию. Но значит ли это, что мы теперь должны ретроспективно подстраивать к этой победе и все предшествующее развитие, выравнивать его в единую автократическую линию?

Ведь таким образом мы не только искажаем политическую картину начала русской государственности, но и заранее лишаем себя возможности понять все дальнейшее ее движение, истинную природу ее полуазиатского характера. Таким образом, мы в один голос с Грозным начинаем вдруг клясть русских бояр за попытку ограничить деспотизм, за создание первоначальных основ русской оппозиционной мысли, за то, что они преградили дорогу восточной деспотии...

В том-то и дело, что искусственное подравнивание исторической картины кратчайшим путем ведет к оправданию автократии!

§2. ДЕД И ВНУК

Вовсе не следует понимать это как апологию Ивана III. Отнюдь. Средневековые нравы жестоки и примитивны, абсолютизм есть абсолютизм, но самой своей природе принимает он в расчет лишь интересы державы, и человек, личность для него — просто одушевленное орудие исполнения неких государственных функций. Эти абстрактные функции и были настоящей социальной реальностью, абстракцией были живые люди.

Сломается орудие или испортится — его выбрасывают, уничтожают. Лекарю Леону, "немцу или жида", как разъясняет Соловьев, отсекали голову, когда умер его пациент, царевич Иван Иванович. Другого лекаря, Антона, зарезали по распоряжению великого князя под мостом, как овцу, за то, что не вылечил какого-то служилого татарского князька. Даже знаменитого болонца Аристотеля Фирравенти, сказавшего Москве огромные услуги, строителя Успенского Собора, литейщика царских пушек и чеканщика царской монеты схватили, как только стал он проситься домой, ограбили, насильно заставили

остаться. Не любили здесь отпускать на волю людей, близко познакомившихся с московским образом жизни. Спустя век эту татарскую черту московского политического быта суждено было испытать на себе крупнейшему просветителю XVI века, учителю Курбского Максиму Греку. А еще столетие спустя обманом заманенный в Москву датский королевич Вольдемар долгие годы должен был прожить в ней как узник из-за того, что не пожелал перекреститься в православную веру: Москва рано превратила идеологические догматы в беззащитное политическое оружие.

Человеческие судьбы перед лицом всемогущей политики равнялись нулю. Впрочем, когда нужно было, перед лицом той же политики приравнивалось к нулю и сами православие. Софийская II и Львовская летописи с большим сокрушением сообщают о том, как натравил Иван III на Киев Менгли-Гирея, варварски разграбившего и испоганившего Печерский монастырь и Святую Софию. И не погнушался после этого православный государь поделить с бусурманами святотатственные трофеи. Из песни слова не выкинешь: жестокий татарский прагматизм свойственен был московской политике изначально...

Но все эти эксцессы, исключительные события, занесенные в летопись и сохранные в поучение потомству. Именно эксцессы, а не система управления. Убивали в силу государственной необходимости, но не из любви к убийству. Убийство не сделалось искусством для искусства, каким стало при Грозном. Там, где можно было обойтись без него, старались обходиться. Если в принципе возможно внести рациональное начало в политический быт средневековья, то Иван III рационализировал его максимально.

Публичных политических процессов при нем не было. Забавно, что проф. И.И. Полосин, восхваляя в своей "Социально-политической истории России" /1963/ Грозного за то, что он "много сделал для выработки новых понятий и терминов, — которые соответствовали бы условиям централизованного государства", заносит в его актив и то, что "именно с Грозного начались процессы политические — слово и дело госуда-

ровы... именно со времени Грозного появилось понятие политической измены".

Я не знаю, почему омерзительные и фальсифицированные политические процессы, изобретенные Грозным, вырастают под пером советского историка в гордый атрибут "централизованного государства". Я хочу лишь подчеркнуть, что Иван III превосходно умел обходиться без них.

А ведь ему было труднее, чем внуку. И если наши историки считают возможным оправдывать жестокости Грозного сопротивлением боярства или объективными нуждами централизации страны, необходимостью ликвидировать "живые черты прежней автономии", то отчего же не обращают они внимания на то, как в несравненно более сложных условиях решал те же самые проблемы Иван III?

Когда он в 1462 г. вступал на престол, эти "живые черты прежней автономии" были во сто крат живее, нежели при Грозном, и уж если нужна была для их пресечения жестокость, то, казалось бы, именно тогда...

Еще и бывшие великие княжения, опаснейшие в прошлом конкуренты Москвы — Тверь и Рязань сохраняли свою удельную обособленность; еще в Новгороде и Пскове бушевали время от времени веча, прогоняя московских наместников и открыто сговариваясь с Литвою; еще удельные братья великого князя способны были, как оказалось, сесть против него на коня, т.е. из-за личных своих обид и счетов развязать в стране гражданскую войну; еще жива была память о том, как во время предыдущей гражданской войны ослеплен и сослан был своими племянниками отец Ивана III, Василий Темный.

Какой простор для террора и тотальной ненависти, для опричнины и политических процессов — для массовых убийств во имя благой цели: централизовать-то страну и впрямь надо было. Ни один самый суровый прокурор не осудил бы его в потомстве. Признают же со вздохом государственные заслуги его современника, Людовика XI...

Но, как на грех словно бы нарочно, чтобы досадить апологетам Грозного, ничего этого не было при Иване III. Совер-

шенно не было, напротив.

Иван III заложил основу для строительства великой феодально-абсолютистской державы, предприняв для этого ряд выдающихся и в то же время осторожных акций, исполненных с большим политическим тактом и по возможности малой кровью. Во всяком случае, с большим тактом и с меньшей кровью, нежели его французский коллега Людовик XI. В этом отношении походил он скорее на английского своего современника Генриха VII. Так же, как и тот, был он скуп, расчетлив, сух, лишен предрассудков и дальновиден. Так же, как и тот, считал, что худой мир лучше доброй ссоры. И всюду, где можно было кончить дело миром вместо драки, шел на это без колебаний, даже ценою значительных уступок. Не было в его характере ни претенциозного упрямства, ни своевольного зазнайства. Без зазрения совести льстил он, например, крымскому хану, допуская даже в официальных документах такие неподобающие формулировки: "Князь великий Иван челом бьет. Посол твой говорил мне, что хочешь меня жаловать..." - зато и утилизировал он ханскую приязнь с большою для государственного дела выгодой.

Это был настоящий политик абсолютистского толка, поистине великий князь компромисса. Больше всего не любил он играть ва-банк, уважал противника, если тот заслуживал уважения, старался не доводить его до крайности, оставлял ему возможность почетного выхода из игры, и превыше всего ставил предание, самый сильный, как мы помним, аргумент средневековой политической логики - "старину".

Это отчетливо видно на том же новгородском примере. Историки, случается, недоумевают, почему так долго медлил Иван, почему не сел на коня, покуда не разгорелась в пожар малая искра литовской крамолы.

Мне кажется, он хотел дать ей разгореться.

Для того, чтобы ликвидировать столь почтенную "старину", как новгородские вольности, нужно было, чтобы мятежники первыми нарушили предание, первыми изменили национальной "старине", сговорившись с литовским врагом. Это давало Ивану такой сильный политический козырь, перед лицом

которого нарушение локальной новгородской "старини" выглядело всего лишь как ответный удар, как самозащита национальной государственности.

Да и тогда Иван сделал это не сразу, не сгоряча, а с оглядкой, продуманно, в два приема, разыграв эту маленькую революцию, как хороший гроссмейстер труднейшую шахматную партию. И не новгородцы, которые играли в неуклюжую политическую игру, беспрестанно попадаясь в великокняжеские ловушки, были ему достойными противниками, а сам могущественный в его глазах авторитет предания. Ибо выполнял он здесь помимо всего сложнейшую и внутренне противоречивую культурную задачу: ему нужно было сокрушить глубокую локальную традицию, не тронув при этом фундаментальных основ политической культуры своего народа.

Он был убежденным консерватором, сей великий маккиавеллист, и позитивную свою историческую работу делал он как бы помимо собственной воли — в этом его настоящая тайна. И это глубокое противоречие придавало неожиданно всей его деятельности тот консервативно-либеральный оттенок, которым овеяны оппозиционные страницы русской истории. Так и думаешь, глядя на его работу: не дай бог усесться на его место под тяжкую шапку Мономаха какому-нибудь полужнайке-экстремисту, которому море покажется по колено — закопошился Новгород — ату его, круши, жги, изводи до корня!..

Да, может быть, ни в чем не очевидна так разница между внуком и дедом, как на опыте аналогичной новгородской акции, предпринятой ими обоими. Подробно мы говорили о ней раньше, поэтому повторять детали ни к чему. Напомню лишь общий смысл: один Иоанн, подчиняя Новгород, включал его в московскую политическую орбиту и делал это как хозяин страны; другой — варварски разграбил его, терроризировал — и надолго подверг в ничтожество, как жестокий и недальновидный завоеватель, как вандал. Я действительно не знаю во всей русской истории более наглядного и яркого образца альтернативы между абсолютистским и авторитарным решением вопроса, более точной модели всей деятельности обоих Иоан-

нов.

Вернемся, однако, от внука к деду. Тем более, что сейчас, когда мы в общих чертах ознакомились с характеристикой дела и личности Ивана III, предстоит нам самая соблазнительная задача и самая большая методологическая трудность из всех, что встречались нам до сих пор. Сейчас мы попробуем реконструировать его государственную программу.

В самом деле, если мы действительно хотим доказать ее компромиссно-абсолютистский характер, до такой степени противоположный программе Грозного, что, приняв ее, Россия могла бы пойти совсем другим историческим путем, без такой реконструкции, т.е. без гипотетического воскрешения ее имманентных целей, нам не обойтись. Пусть это будет рискованное методологическое новшество. Пусть историки отвернутся от нас окончательно, сочтя это недопустимой модернизацией, обозвав ненаучной фантастикой, субъективизмом или даже безумием.

Ведь все это будут говорить историки, а не философы. Люди, которых прошлое интересует именно и только как прошлое, как некая совокупность совершившихся фактов, а не как начала, потенции и модели будущего. А нам сейчас гораздо важнее именно исторические альтернативы, самая возможность выбора различных путей. И поэтому мы попробуем посмотреть на прошлое не только из будущего, вынужденного считаться со свершившимися фактами, но и из самого прошлого — с позиции, с которой вообще еще не ясно, эти ли факты свершатся или иные. Не с позиции наблюдателя, а с позиции борца, современника и сподвижника одних людей и идейных концепций в схватке с другими людьми и идейными концепциями.

В отношении к русской истории, которая, как мы уже говорили, идет циклически, которая так часто повторяется на разных уровнях сложности, словно бы снова и снова "проигрывая" однотипные ситуации, такой философский подход особенно соблазнителен. Здесь особенно важно различие альтернатив, поиск того, что было упущено, что проглядели или недопоняли соотечественники на прошлых этапах развития, почему допус-

тии они реставрацию "жесткой" опричнины, почему в очередной раз упустили реальный исторический шанс разомкнуть заколдованный автократический круг и выйти на простор поступательного исторического прогресса...

Итак, поставим себя на место великого князя московского, перенесемся во вторую половину XV века, сами станем с читателем на час умудренными, опытными и суровыми маккиавелистами, абсолютистами, а не автократами, т.е. взвесим наши возможности, сопоставим наши цели с нашими средствами и попробуем на этом основании сконструировать его — пусть даже не его, а нашу, лишь бы она была соответствовала тогдашним реалиям — политическую программу. Разумеется, мы постараемся сконструировать ее хоть и в современных терминах, но сохраняя по возможности средневековую логику рассуждения.

Сейчас, исполнив долг, завещанный отцами, объединив на своем северо-восточном суглинке разрозненные русские княжества в единое государство, пробившись к Белому морю на Севере и к уральскому "Камню" на Востоке, мы сразу видим, чего не хватает нам, чтобы стать первоклассной державой: открытого выхода к вольным морям — Черному, Балтийскому и Каспийскому; свободного культурного и торгового общения с Западом, который в чем-то нас бесспорно превосходит, во всяком случае в военном отношении, ибо всякий раз наша конница, сносно управляющаяся с татарами, насует перед его наемной пехотой; вхождения на равных правах в европейскую семью народов.

Если сформулировать так наши цели, то станет очевидно, сколько открывается перед нами препятствий, и внутри и внешнеполитических, насколько отстали мы и сколько сил, средств, изобретательности, хитроумия, квалифицированных кадров, времени и терпения понадобится нам для их преодоления.

Начнем с самого простого, с задач внутриполитических. В наиболее общем виде можно сформулировать их как порядок и процветание. Порядок для того, чтобы иметь в руках не

ковейственно-политический хаос, не рознь между классами и гражданскую войну, а хорошо отрегулированный и благополучный инструмент осуществления своей глобальной программы. Процветание — чтобы не затрудняться в средствах для большой политики.

Первым условием осуществления наших целей должна, конечно, выступить политическая унификация страны, введение на всем ее пространстве единых правовых стандартов, ликвидация феодальных и дофеодальных политических анахронизмов: вечевых городов, удельных сеньорий, иммунитетов, церковного землевладения, стремительно, как чума, охватывающего страну и сосредоточившего уже в своих руках треть всех ее земельных фондов. Это ведь означает, вы подумайте, что треть державы практически вышла из государственного "тягла", что наши финансовые и военные возможности катастрофически сузились и — главное! — продолжают сужаться.

Землевладельцы систематически и в массовом порядке отдают на смертном одре свои земли церковникам, отдают, как они говорят, "по душе", чтобы молитва за них и поминовение произносились вечно. Но ведь государство-то беднеет и оскудевает. Еще несколько поколений, и церковные авторитеты, которые сейчас уже учат, что "святительство" выше "царства", окажутся правы, и власть станет бедней церкви и попадет к ней в кабальную зависимость, как попадают обезземеленные холопы. Если даже поверить церковникам, что имущество их суть имущество вдов и сирот и калик перехожих, т.е. что церковь исполняет в обществе функцию своего рода министерства социального призрения, то и в этом случае окажется, что государство существует для содержания нищих, а не для осуществления своих политических целей. Стало быть, надо положить этому конец, так же как положен конец удельным сеньярам и вечевым городам.

И далее, нельзя упускать из виду урегулирование отношений между основной податной силой страны, крестьянством, и землевладельцами, как-то обеспечить имущественные права тех и других, чтобы устранить социальные конфликты, проис-

текающие из беспорядочной миграции крестьян и произвола землевладельцев.

Таким образом, в этой сфере вырисовываются перед нами три крупные проблемы, которые надо как-то решить, чтобы государственное единство и порядок стали не номинальными, а действительным фактом: проблема правовой унификации страны, проблема упорядочения социальных отношений, проблема секуляризации церковных имуществ.

Можно считать, что с подчинением Новгорода, усмирением удельных князей и изданием Судебника 1497 года первая проблема была в общих чертах решена: централизация страны стала политической реальностью. Конечно, многое тут еще нужно было доделывать. Но уже, так сказать, в рабочем порядке: принципиально, этот вопрос — главный для нескольких поколений князей — собирателей — с повестки дня государственной политики снимался.

Вторая проблема тоже, можно сказать, в общих чертах — была решена статьей Судебника "О крестьянском отказе", вошедшей в историю под именем знаменитого Юрьева дня. Этот вопрос, тоже в своем роде принципиальный, заслуживает нескольких слов. Дело в том, что стало уже хрестоматийным стереотипом рассматривать Юрьев день как некий шаг к закреплению крестьян. Мне стереотип этот кажется очень неубедительным. Вот текст статьи: "Крестьянам отказываться из волости, из села в село один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделя после Юрьего дня осеннего. За пожилые дворы платят: в полях за двор рубль, в лесах полтина. Если крестьянин поживет за кем год и пойдет прочь, то платит четверть двора; за два года платит полдвора; за три года — три четверти; за четыре — весь двор."

Стариннейшей язвой московской социальной жизни была миграция рабочей силы, ее гипертрофированная текучесть, сбивавшая нормальную жизнедеятельность хозяйственного порядка. Вот почему гипотеза моя сводится к тому, что цель Юрьева дня заключалась не в закреплении крестьянина, а в упорядочении хозяйственного хаоса, что Юрьев день был способом

государственной регуляции экономических отношений, основанном на глубоком абсолютистском компромиссе между интересами разных социальных групп. И направлен он был — соответственно — вовсе не против крестьян, а против — "летунов" и "гулящих людей", не желающих по каким-то причинам вести постоянное хозяйство или неспособных к крестьянскому труду. Одним словом, против людей, стоявших выше или ниже своего "мира".

Что же до крестьянина собственно, то ведь он не пролетарий, которому нечего терять, кроме своих цепей. У него хозяйство, "живот", скот, семья, по большей части солидная, многообразные и сложные хозяйственные связи и не только. — вертикальные — с боярином, но и горизонтальные — с соседями и односельчанами. Крестьянин вообще по психологической своей природе оседл и консервативен. В особенности при фиксированных повинностях. Ему не было нужды бегать от боярина к боярину, руша налаженное хозяйство и начиная всякий раз с пустого места. "Переехать, как погореть" — говорит старинная поговорка. Единственный смысл такой перебежки заключался в уходе на свободные, "черные" земли, где над ним вообще никакого хозяина не было. Но ведь Юрьев день этого ему и не возбранял: закончи страду и хлопоты с урожаем, расплатись из него с ключником — и ступай на все четыре стороны!

Нет, Юрьев день был для него хорош тем, что давал возможность неспешно присмотреться к своему "луку", поладить с сельчанами, разобраться, подходит ли ему боярин. Если баланс хозяйственных и культурных отношений складывался для него неблагоприятно, он мог уйти в первый же год, заплатив всего четверть "пожилого". А главное — это было сознание, что ты можешь уйти, когда пожелаешь, сознание, служившее той самой "гарантией существования", которую, как говорил Маркс, обеспечивали крестьянину "старинные феодальные учреждения". Это было реальное ограничение барского произвола, живая гарантия личных и имущественных прав крестьянина.

Но и боярину Юрьев день был выгоден. Он и ему давал возможность присмотреться к крестьянину и, коли оказывался тот ленив и неисправен, осенью от него избавиться. В этом смысле статья служила землевладельцу известной гарантией рациональной эксплуатации земли.

Конечно, Юрьев день не давал крестьянину гарантии, что боярин не согонит его с земли по своему произволу. Да ведь кто ж согнал? Россия — не Англия. Здесь и проблемы-то такой не было. Земли было много, а людей мало. И потому главной ценностью была здесь тогда не земля, а люди. И потому не просто за землю шел исторический спор между разными фракциями феодального класса: дворянством, церковью и боярами — а за населенную землю, за землю с людьми. И потому "гарантией существования" для русского крестьянина была фиксация его повинностей и сознание свободы, которые служили вполне реальным ограничением произвола землевладельца. Это и давал ему Юрьев день.

А теперь представьте себе, что кто-то отнял у него и то и другое. Что это будет — продолжение прежней политики или ее отрицание?

Если Юрьев день был абсолютистским решением вопроса, междуклассовым к о м п р о м и с с о м, если гарантировал он, в частности, главный залог здорового социального развития державы — крестьянскую дифференциацию, то ведь нелепо же считать опричную экспроприацию и террористическое закрепощение крестьянства при Грозном его логическим продолжением. Очевидно же, что гибель под руками опричников первых ростков крестьянской буржуазности и означала самую примитивную феодальную реакцию. Означала полное и необратимое разрушение всей социальной политики Ивана III.

Крестьянская дифференциация исполняла двоякую роль в абсолютистских общественных системах. С одной стороны, выделяла она крепкую хозяйственную элиту в деревне, способную при всех обстоятельствах накормить страну хлебом и мясом, а с другой, — обеспечивала постоянный приток рабочей силы в города. Стало быть, само могущество европейских городов

тоже было в конечном счете следствием крестьянской дифференциации. Так без сомнения пошло бы дело и в России, если бы не опричнина.

Ведь экспроприация и закрепление крестьян означали не только угасание их заинтересованности в результатах своего труда, а стало быть, и катастрофическое падение его производительности, но и положила конец действительно прогрессивному процессу урбанизации страны. Нет, миграция из села не прекратилась, наоборот, усилилась — и никакими полицейскими мерами остановить ее было невозможно. Но шла она теперь не в города, не в посады, где укрыться беглецу было нельзя, а в казачество, в гулящие степи, в "дикое поле".

Происходила поистине страшная вещь: весь колоссальный потенциал крестьянской предприимчивости, накопленный страной, потенциал, который мог бы, который должен был стремительно двинуть ее вперед, словно бы отделился от страны. Стад для нее как отрезанный ломоть. Самые активные и деятельные элементы крестьянства, его лучшие умы и потенциальные лидеры, из которых могли бы выйти тысячи Строгановых и Дежневых, разумных и инициативных строителей национальной экономики, растративали недюжинные свои силы в дикой и бесплодной гульбе по Волге и Каспию, пили горькую и стреляли друг в друга — как магнитом притягиваясь по временам к бывшей своей родине.

Но не для того, чтобы ее строить. А для того, чтобы разбудив на мгновение заскоруждую массу своих крепостных сородичей, потрясти до основания страну и напомнить ей, что они тоже отверженные ее, блудные ее сыновья.

Такой гигантской растраты национальных человеческих ресурсов не знала ни одна страна в мире. Изгнание морисков из Испании и гугенотов из Франции ни в какое сравнение не идет с этим колоссальным самоубийственным феноменом...

Таким образом, русская деревня осталась без хозяйственной элиты, русские города остались хилы, убоги и никогда, в противоположность европейским, не превратились в

самостоятельную социальную силу. Страна проваливалась в политическое небытие. С безумной и нелепой последовательностью рушил, калечил и обращал в их собственную противоположность великие абсолютистские замыслы деда его бездарный нук.

Но все это будет потом. И сейчас, в исходе XV века, — ничего этого знать мы еще не можем. Сейчас мы еще формируем абсолютистскую программу...

§3. МОСИМЛЯНЕ И НЕСТЯЖАТЕЛИ

Остается нам, как помнит читатель, еще третья, самая глупая, почти непосильная для такого осторожного и консервативного государя, в роли которого мы с вами сейчас выступаем, проблема. Нет сомнения, что секуляризация церковных земель, которая при удачном ее осуществлении могла бы, возможно, изменить судьбы и направление русской истории, была генеральной проблемой царствования Ивана III, главным пунктом его внутриполитической государственной программы. Понятно также, что в средневековой России борьба за секуляризацию могла происходить только в форме борьбы церковных идеологий.

Мы, впрочем, знаем, что именно в такой форме и явилась впервые политическая борьба повсюду в Европе, что борьба между церковью и государством и была тем политическим характером, откуда извергся европейский нонконформизм.

Правда, первоначально она — в полном согласии со средневековым мировоззрением — выступала в виде борьбы за мировое господство между папством и священной римской империей германской нации. Но уже в XV веке слышим от Блаженного Августина роковые ноты, предвещающие перманентный раскол в сознании средневекового европейского человека. Если государство само по себе есть зло, как учил великий святой, если "светские государи, — как вторил ему в 1081г. не менее великий папа Григорий VII, — обязаны своей властью врагам божьим, которыми предводительствует сатана и которые хотят

господствовать над равными себе людьми посредством высокомерия, грабежа, измены, предательских убийств и всех других преступлений", то ясно, что у коллизии этой вовсе не было тогда разрешения.

Именно это обстоятельство и положило стачи в европейской культуре предел автократическим притязаниям государей. Помешало внедриться в нее стереотипам обожествления государственной власти. Сразу поставило под сомнение ее чистоту и первородство. Заставило средневекового европейца в н б и р а т ь между государством и церковью. Ибо изначально, как видим, не было здесь над светскою властью благодати, и нimb над ее челом был основательно потрепан.

Иоанн Солсберийский, епископ Шартра, не хуже любого народного трибуна, пламенно восклицал: "Истинный государь защищает законы и народную свободу, тиран попирает законы ногами и обращает народ в своего раба. Первый есть образ божий, второй — воплощенный Люцифер. Первого надо любить, второго — убить!" И мы с удивлением узнаем в этой бешеной тираде не только первоисточник солидного Жана Бодена, но и его московского современника, неистового Иосифа Волоцкого. Разве не учил Иосиф, что бывает царь, который вовсе "не божий слуга, но дьявол, и не царь, но мучитель"? "И ты, — заклинал он своего читателя, — такого царя или князя не послушайся... Аще мучит, аще смертию претит!"

Известно, что сама знаменитая теория "общественного договора" обязана своим происхождением совсем не Руссо, а разъяренным церковникам, искавшим идеологическую альтернативу евангельскому тезису о том, что неть власти аще не от Бога.

Но ведь и европейские государи не молчали. Ища в свою очередь противоядия против коварного довода церковников, они апеллируют к народу, устами его представителей провозглашая свою — и собственно уже не свою, а национальную — независимость от римского диктата. Во всяком случае именно такой апелляцией обязаны своим происхождением французские Генеральные штаты. Но таким образом государственная власть на Западе, сама того не замечая, все дальше и дальше ухо-

шла от названного евангельского тезиса, служившего естественной идеологической основой автократии. В Москве все было иначе.

Прежде всего московским государям не приходилось защищать авторитет своей власти от притязаний вседенской иерархии. После Флорентийской унии 1439 года, когда константинопольская патриархия согласилась на папский суверенитет, и греческое православие стало вследствие этого в глазах москвичей сомнительным и чуть не крамольным, церковь и государство стояли в Москве лицом к лицу на единой национальной почве. Но идеологическая сила их была не равна.

Москва еще только грезилась о единстве Руси и о верховенстве над нею, покоившийся при Иване III, покуда ей только снился, когда русская церковь была уже едина, жестко централизована и добилась таких мощных привилегий и иммунитетов, каких никогда в средние века не знала ни одна национальная церковь в Европе. И всем этим обязана она была не Константинополю и не Москве, а татарам.

Говорят, что русская государственность многое заимствовала у татар. Это вопрос спорный. Но вот то, что именно им обязана своим материальным могуществом и своим духовным ничтожеством русская церковь, это, по-моему, бесспорно. Недаром же, защищая свои феодальные гнезда уже в XVI веке, именно на ордынские ярлыки ссылались московские иереи. А ярлыки эти были несмысленно щедры. От церкви, — гласил один ханский документ, имевший силу закона, — "не надобе им дань и тамга, и поплужное, ни ям, ни подводы, ни война, ни корм; во всех пошлинах не надобе им ни которая царева пошлина". И не только от церкви, но и от всех, кто находился под ее покровительством: "а что церковные люди, мастера, сокольницы... или которые слуги и работницы и кто бни будет из людей, тех да замают ни за что, ни на работу, ни на сторожу". И помимо гарантий всех церковных имуществ, помимо освобождения от всех налогов, повинностей, постоев, от всех вообще тягот днзземного ига, вручалось еще церкви верховное право суда и управления своими людьми: "а знает митрополит в правду, и право судит и управляет люди своя

чем ни буди: и в разбое, и в поличном, и в татьбе, и во всяких делах ведает сам митрополит один или кому прикажет...»

Поистине, посреди повергнутой и разграбленной страны стояла та церковь, как заповедный нетронутый остров, как вердыня благополучия.

Но татары вовсе не были филантропами. Платили они церкви землями и привилегиями за идеологическую ее благонамеренность, за идейное влияние, за то, что положила она к их ногам духовный меч православия.

У нас нет здесь нужды выяснять, как складывались на протяжении столетий отношения церкви с ее татарским сюзерентом. Скажем лишь, что он долго не имел оснований жалеть о своей щедрости. Церковь служила ему верно. Сначала одна, а потом вместе с Москвою. В частности, первое общерусское восстание против ига, поднятое еще за полтора столетия до Дмитрия Донского тверским князем Александром, успешно было раздавлено этой тройственной "антантой". Ясно во всяком случае одно: не церковь обязана была своим возвышением и могуществом Москве, а Москва — церкви.

Такова была исходная расстановка фигур на московской политической арене. Но и это еще не все. Мало того, что Ивану III в осуществлении важнейшего секуляризационного пункта своей программы приходилось считаться с такой мощью священной для него "старины", он не смел уронить авторитет церкви еще и по другой, не менее важной причине.

Причиной этой была Литва, на 3/4 по меньшей мере состоявшая из православных, из белоруссов и малороссов. Расколоть Литву, поднять на ее католических князей православную массу, присоединить к себе эту гигантскую "отчину", по сути, воссоединить Москву с ее прародиной, бывшим Киевским великим княжеством, и таким образом проложить себе самый короткий и политически вероятный путь на Запад — это был, скажем мы, забегая вперед, слишком соблазнительный пункт нашей внешнеполитической программы, чтобы им можно было легкомысленно рискнуть, унижая православие. Так что

уть прямой и открытой борьбы с церковью, путь ее ограбления и уничтожения, на который, разумеется, ~~никому~~ вступил ~~никто~~, исключался для Ивана III совершенно.

Следовало искать путей окольных, дипломатичных и компромиссных, путей абсолютистских, на которые он был такой мастер. Следовало искать идеологических брешей в броне противника, ревниво оберегавшего свои привилегии, свое богатство и свою независимость.

Первая брешь была, собственно говоря, всегда налицо. Это был старый церковный спор о пределах вмешательства власти в компетенцию церкви. Если в XIV веке митрополит Киприан, а в XV митрополит Фотий утверждали полную независимость церкви от государственной власти, то, с другой стороны, уже в начале XIV века Акиндин доказывал право князя судить самого митрополита, если он окажется виновен в нарушении канонов. На той же позиции стояли Кирилл Белозерский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, его ученики, митрополиты Даниил и Макарий, старец Филофей и даже учителя раскола.

И для всех названных лиц спор этот был вовсе не академический, а сугубо утилитарный. Ибо в стройной храмине русской церкви рано завелся коварный внутренний червь, справиться с которым мечом духовным, в открытой идейной схватке церковь, занятая делами земными, хозяйственно-политическими, не умела. Требовался меч вещественный, великокняжеский. Червем этим была ересь.

Это на ее голову призывали государственные громы почтенные митрополиты и старцы, конечно, обличая этим свое идейное бессилие, но и давая власти легальный, самую церковь признавший повод для вмешательства в ее внутренние дела.

Отсюда совершенно очевидно, что великий князь, как это ни парадоксально, должен был быть заинтересован в ереси. Ересь была его орудием, его политическим инструментом, тем скальпелем, которым намеревался он взрезать церковную твердыню. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ересь свила себе прочное гнездо при дворе великого князя,

что во главе еретического направления стояли сноха Ивана III Елена Стефановна, мать венчанного в 1498 г. Дмитрия, и один из самых близких к государю людей, знаменитый дипломат, дьяк Курицын.

Очень любопытно, что зная все это и говоря на стр. 183 своей книги "Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI вв." /1960/, что "во главе этого кружка стоял Федор Курицын — виднейший государственный деятель времени Ивана III, один из руководителей внешней политики великого князя", советский историк Я.С. Лурье уже на стр. 185 утверждает, что "русские ереси конца XV века были, как и западные "городские ереси", одной из форм "революционной оппозиции феодализму".

Выходит, что главным революционером был Курицын, а поскольку, как утверждается о нем в одном летописном документе, "того бо державный во всем послушася", то даже и сам государь, тем более, что венчал же он на царство сына еретички. Выходит, короче говоря, что Иван III возглавлял революционную оппозицию против самого себя! Как не заметить здесь явной логической неувязки? Но к этому мы еще вернемся...

Однако ересь была недостаточной брешью в идеологической броне православной церкви. Она, конечно, давала формальное право вмешиваться в ее кадровую политику и в этом смысле могла служить Дамокловым мечом, висевшим над головой любого ее иерея, но она не давала никакого права конфисковать у церкви ее имущество. Великий князь мог терпеть еретиков и даже поддерживать и подкармливать их, но сам он стать еретиком не мог: православная вера нужна была ему во всем-девственном блеске ее авторитета. Поэтому ересь оставалась, так сказать, до поры до времени козырным тузом в его политической колоде, но решающей роли играть в ней пока не могла.

Тут нужна была иная, более серьезная и более, так сказать, близкая к делу брешь. Брешь эту Иван III точно и зорко усмотрел в скромном учении "заволжских старцев", строгих

пустынников, убегавших в леса от соблазнов монастырского любостяжания и проповедовавших скитский подвиг, "умное делание": "Кто молится только устами, а об уме небрежет, тот молится воздуху: Бог уму внимает". Иными словами, не постом, воздержанием и дисциплинарными марами — по мысли скитских отшельников — и вообще не всей этой внешней, отрицательной, можно сказать, административной деятельностью достигается подлинная близость к богу, а тем, чтобы "умом блюсти сердце", чтобы позитивной работой разума контролировать грешные страсти и помыслы, идущие от мира и от плоти.

Нетрудно видеть, что все это аскетическое учение, годное разве для праведного отшельничества, было как небо от земли далеко от всякой политики. И надобна была вся цепкость взгляда Ивана III, чтобы вытащить его на политическую арену, втянуть в орбиту яростных страстей человеческих, заставить работать на себя, заставить бороться и в борьбе отстаивать свою безмерно далекую от всякой активности позицию. Чтобы, короче говоря, превратить смиренное и индивидуалистическое подвижничество в некое подобие политической партии, в то, что стало потом известно в политической истории России под именем "нестяжательства".

По сути, классическую формулу нестяжательства дал еще в начале XV века митрополит Киприан. — "Как можно однажды — отрекшись от мира и всего мирского, — вопрошал он, — снова связывать себя мирскими делами, снова создавать то, что сам же разрушил и таким образом стать преступником своих обетов?"

Отделить православие от церковного землевладения. Доказать, что монастырское любостяжание вредит самому православию. Что его надо ликвидировать во имя истинного православия — вот какое политическое содержание усмотрел в идеологии "умного делания" наш маккиавелист. Нельзя не отдать должного его изобретательности.

И момент был выбран удачно. Церковь в 80-90-е годы была в полном разброде. С одной стороны, потрясали ее ересь и всевозможные реформаторские тенденции,

С другой, — для того, чтобы создать серьезное обновленческое, контрреформаторское движение, нужны были кадры, которых не было, высокое сознание долга, к которому разленившиеся обитатели монастырей, привыкшие к сладкой жизни на бесплатных харчах, были совершенно не способны. Деловые люди, подвизавшиеся на церковной ниве, целиком погрузились в хозяйственной деятельности. Жадность съедала дисциплину, разврат — духовные цели, социальные и экономические функции церкви не исполнялись — это была в полном смысле слова раковая опухоль, неудержимо расплывавшаяся по телу страны. И ясно это было всем: и нестяжателям и их оппонентам.

В известных царских вопросах Собору 1551 г., подготовленных для Ивана IV его Избранной радой, описано положение вещей так страстно и ярко, словно бы писал их сам главный публицист нестяжательства, князь-инок Вассиан Патрикеев: "В монастыри поступают не ради спасения своей души, а... чтобы всегда бражничать. Архимандриты и игумены докупаются своих мест, не знают ни службы божией, ни братства... покупают себе села, а иные угоды у меня выпрашивают... Где те прибыли и кто ими корытуется?... И такое безчиние и совершенное нерадение о церкви божией и монастырском строении... на том весь этот грех взыщется? И откуда мирским душам получать пользу и отвращение от всякого зла? Если там все делается не по Богу, то какого добра ждать от нас, мирской чади? И чрез кого нам просить милости у Бога?"

Это ведь говорит уже не только политический расчет, но и встревоженная средневековая совесть. Что-то надо с церковью делать — иначе всем нам не будет прощения ни на этом свете, ни тем более на том — вот общая тональность идеологической жизни конца XV века.

О кадрах, которыми располагала тогдашняя церковь, лучше меня расскажет пылкий "обличитель" ереси и борец против нестяжательства архиепископ³ новгородский Геннадий: "приведут ко мне мужика, я велю ему аностол дать читать, а он и ступить не умеет, велю дать псалтырь, он и по тому едва бредет; я ему откажу, а они кричат: земля,

господин, такая, не можем добыть человека, который бы грамоте умел; но ведь это всей земле позор, будто нет в земле человека, кого бы можно в попы поставить... велю учить азбуки: а он, поучившись немного, запросится прочь, не хочет учиться, а иной и учится, но не усердно и потому живет долго. Вот такие-то меня и бранят, а мне что же делать?"

Церковь нуждалась в квалифицированных кадрах, в честных, интеллигентных, грамотных людях. Церковь нуждалась в очищении. Церковь нуждалась в конструктивном обновлении. Одним словом, русская церковь — точно так же, как и современная ей европейская — нуждалась в Реформации!

Таково было требование времени. Таков был вызов, брошенный историей главному идеологическому институту системы, генератору ее идей в 80-90-е годы XV века. Вызов, на который она ответила двумя противоположными решениями, условно говоря, Реформационным и Контрреформационным.

И драма русской церкви, сосредоточившей в себе, несмотря на все свои недостатки, интеллектуальный потенциал страны, ее золотой духовный запас, настоящая драма русской церкви, а вместе с тем и первый акт драмы русской интеллигенции, заключались в том, скажем мы, забегаая вперед, что поражение потерпели оба предложенных ей "ответа".

А теперь, когда нам ясней стала ситуация и понятней действующие лица, мы должны будем проследить хоть в самых общих чертах течение этой драмы.

§4. "ОТВЕТ" НЕСТЯЖАТЕЛЕЙ

В нестяжательском "ответе" был непосредственно — и современники это прекрасно понимали — заинтересован сам великий князь: ликвидация монастырского землевладения с его феодальными иммунитетами и сеньориальной автономией была условием социальной и экономической интеграции страны. Так же, как нельзя было терпеть в централизованном государстве удельных княжений, так нельзя было терпеть в нем и княжений церковных.

Не менее отчетливо стоял вопрос и в области социальной. Гигантские латифундии духовенства катастрофически сужали операционное поле управления. Дворянскую конницу надо было "испоместить". И испоместить ее следовало за счет этих самых латифундий, поскольку в противном случае делать это пришлось бы за счет черносошного крестьянства и крупного боярского землевладения, что, разумеется, и сделал впоследствии Грозный. А это, как мы уже знаем, означало гибель тех робких ростков предбуржуазного развития, которые и без того с таким трудом пробивались на скудной московской почве. Это означало феодальную реакцию и тотальное закрепощение крестьян.

Наиболее близкие нам современные исследователи признают, как мы видели, наличие в России XV-XVI вв. этих двух конкурирующих экономических тенденций - предбуржуазную дифференциацию крестьянства /связанную с переходом к денежной ренте на черных и боярских землях/ и расширение барской записки /связанное с переходом к отработочной ренте/ на землях помещичьих. Согласны они и в том, что одна из этих тенденций могла составить экономическую базу исторического прогресса, другая - реакции. Именно наличие двух тенденций, именно их борьба и конкуренция, именно нерешенность их фундаментального спора и придают рассматриваемому столетию русской истории /1462-1564/ характер переходности, стохастичности, именно богатство противоречивых возможностей, именно наличие в н б о р а делают его узловым и драматическим ее перепоутем.

Но вот что упускается здесь из виду. Как свидетельствует история, спор этих двух тенденций вовсе не обязательно должен был быть решен однозначно: либо - либо. Спор их мог быть решен абсолютистским к о м п р о м и с с о м.

Базой такого компромисса и была секуляризация церковных земель, например, в Дании и Швеции, тоже достаточно северных и достаточно отсталых странах, в которых, однако, тотального закрепощения крестьянства не случилось, несмотря на то, что и они знали феодальную реакцию и авторитарные попытки.

Когда в начале XVI века король датский Кристиан III арестовал епископов, лишил их земель и привилегий, в результате чего королевский земельный фонд вырос втрое, "для датских дворян-крепостников /испомещенных на этих землях/ наступил, - говорит историк средних веков, - золотой век". И тем не менее, во второй половине XVII века, в пору общеевропейской реакции барщину в Дании неско, - вынужден на следующей странице признать автор, - лишь менее 20% крестьян, а продажа крестьян без земли распространения не получила.

Иначе говоря, секуляризация церковных земель послужила мощным тормозом феодальной реакции. Не дала ей сделаться тотальной. Не ликвидировала противоборствующие ей предбуржуазные тенденции. Не отменила конкуренцию различных социально-экономических типов развития. Короче говоря, она сделалась базой абсолютистской политики балансирования между различными социальными силами, базой межклассового компромисса, а не автократической отмены всех ограничений.

Еще наглядней и ярче свидетельствует об этом история Швеции, где секуляризация тоже привела к сосредоточению в руках дворянства большей половины пахотных площадей страны и к росту барщинных повинностей и где даже возник на время страх "лифляндского рабства". Но страхом он и остался. Тотального закрепощения крестьян не произошло. Автократия не восторжествовала.

Иначе говоря, мы видим, что секуляризация церковных земель нигде не смогла предотвратить ни абсолютизм, ни феодальную реакцию, но зато смогла она предотвратить тотальный характер и увековечение этой реакции, стало быть, автократию.

Мы можем, кажется, высказать на этом основании и более общую гипотезу о том, что именно те страны, где церковное землевладение было вовремя, т.е. в рассматриваемую переходную эпоху, секуляризировано /или где его вовсе не было/, получили важные социальные преимущества и вырвались вперед в своем историческом развитии. Если не считать парцелярных германских государств, крепостное право и автократия, как правило, не смогли восторжествовать в секуляри-

зованных государствах, оставив после социальной и политической борьбы открытым.

О богатстве потенций этой переходной, так сказать, многовариантной эпохи говорит и другой фундаментальный гипотетический результат секуляризации, связанный с проблемой военной организации страны.

Известно, что московская армия XV1 века была совершенно неконкурентноспособна в открытом бою с армиями европейскими — как в техническом, так в тактическом и организационном отношениях — и потому эффективным оружием внешней политики служить не могла. Имманентная слабость этой армии — коренилась в том, что ядром ее было непрофессиональное дворянское ополчение. Иначе говоря, преобладание дворянства, беззастенчивое культивирование помещичьего землевладения — необходимое автократии из внутриполитических соображений, для укрепления своей власти — делало ее в то время недееспособной на арене мировой политики.

Дешевая армия оказывалась плохой армией. Но для содержания хорошей, а стало быть и дорогой, профессиональной армии, нужны были деньги, много денег, нужен был специальный военный фонд, который — в конкретных обстоятельствах XV1 века — как раз и лежал в монастырских сундуках. Иначе говоря, секуляризация могла при соответствующих политических условиях послужить основой коренной военной ~~формы~~ реформы, радикальной модернизации армии, ее профессионализации и технического оснащения на уровне мировых стандартов. А модернизация армии могла в свою очередь привести к утрате дворянством его политической гегемонии. Короче говоря, она могла кардинально изменить судьбы страны.

И, наконец, в последнем — по счету, но не по значению, — культурном смысле секуляризация могла навсегда вырвать деревню, а с ней и интеллектуальный потенциал страны из-под непосредственной опеки государства, развязать ее культурную независимость и творческую силу, дать возможность духовной интеллигенции представлять перед властью

политическом кристалище, и должны были сложиться судьбы страны.

Церковь, "гости", поместное дворянство, посад, боярство, верхи дифференцирующего крестьянства, каждый из социальных элементов складывающейся системы стремился придать ее — потенциальной программе, пока она еще окончательно не отвердела и не отлилась в завершенную форму, свои, выгодные ему очертания "исторической необходимости", свои режимы и свои цели. Соответственно каждый предлагал власти свои услуги и добивался доминирующего влияния на нее или, по крайней мере, контроля над ней.

Так в чьих же конкретных целях и интересах воплощена была возделенная Историческая Необходимость? Какой именно из этого множества "необходимостей" должна была способствовать Личность, чтобы спустя столетие фигурировать в учебниках истории в качестве прогрессивной? Каким именно критериям должна была удовлетворять эта прогрессивность?

Одни говорят так, другие — иначе. Но кто знает истину? Нам сейчас совершенно ни к чему вступать в столь фундаментальные споры. Я хочу лишь обратить внимание читателя на исключительную сложность, на принципиальную неоднозначность вопроса, на то, что все эти импонирующие своей мужественной и лапидарной простотой объяснения, известные нам с младых ногтей, ровно ничего на самом деле не объясняют, что вся их соблазнительная категоричность призвана лишь скрыть удручающее их логическое бессилие. Вот и все.

Возвращаясь, как говорится, на круги своя отметим, что в условиях неустойчивого социального равновесия, в условиях еще неопределившегося экономического курса страны и латентных форм политической борьбы, именно от власти зависело, какую из борющихся фракций захочет она пожертвовать и на какую опереться. Иван III опирался, вырабатывая свою абсолютистскую стратегию, на стоящее за спиной Нила Сорского и его "заволжских старцев" боярство и жертвовал церковным землевладением. Иван IV, опершись на опричное дворянство, по-

жертвует землевладением боярско-крестьянским...

Что же касается экономической необходимости, в конечном счете определяющей общественный процесс, то ведь она, — как мы только что убедились, вовсе не имеет характера фаталистического. В особенности в эпохи, когда синхронно и параллельно функционируют различные хозяйственные уклады и работают, сплетаясь и перекрещиваясь, конкурирующие экономические тенденции, каждая из которых могла одолеть другую только при помощи государства, бросив на колеблющиеся весы "исторической необходимости" дополнительную политическую гирию. Исключительная мощь абсолютистского государства в том, между прочим, и состоит, что власть обретает монопольную возможность избирать государственную стратегию.

Правильно или ошибочно будет сделан выбор, это, конечно, не изменит — если вести счет на тысячелетия — сути и направления исторического процесса. Но изменит его темп, его ритм, его структуру, если можно так выразиться, его цену. Правильность или ошибочность такой стратегии оплатят своими надеждами, своими трагедиями, своей жизнью многие и многие поколения.

Из любой исторической точки А в точку Б попасть можно, как свидетельствует опыт, путем прямым и окольным, заплатив за него минимальную или максимальную историческую цену. И зависит это именно от качества государственных стратегий, от рациональности политической практики, предусматривающей /или не предусматривающей/ достаточно эффективные механизмы социального контроля и ограничений власти, механизмы корректировки программ управления.

Вот вам и ответ на вопрос, почему то обстоятельство, что Иван III не успел довести до конца строительство своей нестяжательской абсолютистской программы, имело для России значение исторической катастрофы.

§5. "ОТВЕТ" ИОСИФЛЯН

Но и сейчас не могу я приступить непосредственно к характеристике Иосифлян, не сказав несколько недоуменных слов об интерпретации в нашей исторической науке их антиподов — нестяжателей, об интерпретации, которую я просто не в состоянии уразуметь, сколько не прилагаю к этому усилий.

У меня, к счастью, нет в данном случае даже необходимости в специальных историографических изысканиях. Все, что нужно, содержится в известной уже нам книге Я.С. Мурье. Вот что пишет он: "Советские исследователи впервые поставили вопрос о социальной роли учения Нила и его последователей..." "Стоит только слегка распахнуть монашеское одеяние любого из нестяжателей, как мы увидим под ним парчу боярского кафтана, — писал Б.А. Рыбаков. — Пытаясь отдалить нависающий призрак опричнины, боярин указывал путь к восточным "непогребенным мертвецам". Ту же мысль мы находим и в общих курсах по литературе и истории. В академической "Истории русской литературы" указывается: "Идеями Нила Сорского прикрывалась реакционная борьба крупновотчинного боярства за свои земли и за свою роль в государственном управлении, борьба против одержавшей победу сильной великокняжеской власти, которой должны были подчиниться и светские и церковные феодалы". Об этом же говорится и в "Очерках истории СССР": "За религиозной оболочкой учения Нила Сорского, — читаем мы здесь, — скрывалась внутриклассовая борьба, направленная, в частности, против усиливающейся княжеской власти..."

Согласитесь, что это просто непостижимо. Ведь тот же Я.С. Мурье, равно как и авторы всех этих академических "очерков", великолепно знают, что нестяжательство было делом рук самого великого князя. Знают, как знал В.С. Ключевский, "что за Нилом и его нестяжателями стоит сам Иван III, которому нужны были монастырские земли". Ведь несколькими страницами дальше и Я.С. Мурье, вторя ему, декларирует: "Выступление Нила было, таким образом, "инсценировано"

Иваном III; Нил выступил в качестве своеобразного теоретика великокняжеской политики в этом вопросе".

Значит, решительно никакой нужды не было нескромно распахивать монашеские одеяния на кротких старцах, чтобы установить истинное их политическое значение. Это факт элементарный, азбучный, это, наконец, просто ф а к т, игнорировать который недобросовестно.

Так как же можно, зная его, объявлять в то же время нестяжательство "реакционной борьбой", направленной п р о т и в великокняжеской власти?!

Мы уже видели недавно у того же Я.С. Лурье Ивана III в роли лидера "революционной оппозиции", направленной против самого себя. И что же? Не успели мы опомниться, как он выступает в роли главаря на этот раз "реакционной оппозиции" — опять-таки направленной против него самого! Что же, скажите, может все это означать? Что это за странная смесь высокомерия и бессилия? Как ее объяснить? Я решительно отказываюсь это делать. Может, мой читатель, будет счастливее...

Вот теперь, когда нам исчерпывающе ясно, что будущие наши оппоненты, ослепленные своей непреходящей любовью к "сильной власти" и столь же непреходящей ненавистью к "оппозиции" попросту не располагают никакой интерпретацией исторического спора церковных идеологий — ибо нельзя же всерьез считать научной интерпретацией цитированный выше лепет — мы можем уже со спокойной совестью перейти к характеристике альтернативного "ответа" иосифлян.

Он был, конечно, основательней и серьезней, нежели стандартные тирады их сегодняшних апологетов, претендующих на то, что они "впервые поставили вопрос о социальной роли учения Нила". Прежде всего иосифляне вовсе не оспаривали печального церковного настроения и не отрицали необходимости реформ. Более того, они-то, как это всегда бывает, и претендовали на роль подлинных реформаторов. И за основу реформ соглашались они принять даже и ламентацию нестяжателей. Но только с их нравственной, а не социальной и экономической стороны.

Да, стяжание пагубно для монахов — соглашались они. Для монахов как индивидов, подверженных нравственной порче. Но не для монастырей как религиозных институтов, обеспечивающих функционирование православия.

Да, — отвечал Иосиф на аргумент Киприана, — да, монахи "ничто не должен имети и помышляти свое, но все — монастырское". Да, — говорит он, — "правда, что иноки грешат, но церкви божии и монастыри ни в чем не согрешают". Это был великолепный пример диалектической мистики, пережившего века средневекового "реализма": частные лица, действующие от имени Целого, могут оказаться порочны и даже преступны. Но само Целое, словно бы существующее помимо этих частных лиц и над ними, остается во всей своей непорочной святости. Целое непогрешимо, что бы ни творилось под его именем, ибо полно нечеловеческого мистического величия. Целое не от мира сего — и потому не несет ответственности за пороки и преступления его отдельных вождей и воителей.

Индивид приносил себя в жертву Богу, но воплощенному в мистическом Целом. Между человеком и небом стоит монастырский коллектив, на котором лежит благодать и который одновременно принимает на себя все земные заботы, связанные с социальным функционированием. Монах уходит от мира, и возвращается он в мир для "божьего делания" уже не как личность, способная преступить обеты, но как частица церкви, лишенная индивидуальности, частица, которой уже не страшны земные соблазны. Возрождение истинных христовых норм монастырской жизни — вот что провозгласил Иосиф.

За этой философской апологией коллективизма — с сильным католическим оттенком — следовал довод неожиданно совершенно прагматический: "если у монастырей не будет сел, то как постриться почетному и благородному человеку, а если не будет почетных и благородных старцев, то откуда взять людей в митрополиты, архиепископы, епископы и на другие церковные власти? Итак... самая вера поколеблется". Это был, согласитесь, сильный довод. Откуда, в самом деле, взять квалифицированные и грамотные кадры, необходимые для

устроения церкви, откуда взять церковную интеллигенцию, если все будут по скитам добывать себе пропитание собственными руками?

Что говорить, Иосиф точно нащупал здесь социальную неконструктивность нестяжательства. Если бы в России были университеты или духовные академии, как на Западе, если бы существовала возможность обеспечить им автономию, если бы содержали их церковные общины, прихожане, а не власть, тогда вопрос стоял бы иначе. Но просто заменить монастыри скитами, разве это выход?

Другое дело, что принятие нестяжательской альтернативы могло бы поставить вопрос и в такой плоскости. Другое дело, что так скорее дошло бы до университетов и академий, нежели при предложенном Иосифом превращении в университеты самих монастырей со всеми их "селами и христианами". Как показал опыт, при иосифлянском решении вопроса монастыри, если и могли превратиться в академии, то разве что в сельскохозяйственные, но отнюдь не в духовные центры страны. Но ведь он, Иосиф, знать этого не мог. И он не только говорил, он делал. Он был не только блестящим идеологом, но и талантливым менеджером, он действительно превратил свой Волоцкий монастырь в образцовую обитель, в общежительный заповедник церковной культуры, в тогдашнюю политическую академию. Кто же мог в те поры знать, что так и останется он, монастырь этот, единственным и недостижимым идеалом, обязанным своим процветанием исключительно организаторскому гению Иосифа?

Конечно, честолюбивые планы этого русского Лойолы шли куда дальше его скромных деклараций. Не забудем, что это тот самый Иосиф, который впервые в России ввел католическое деление монархов на царей и тиранов и провозгласил догмат неподчинения державному "мучителю", дьяволу во плоти. Бесспорно, в перспективе привиделось ему, как "святительский престол" высоко поднимается над царским. Как окружают царя воспитанники его монастырских университетов, оттесняя родовитых бояр и безродных дьяков. Как диктуют они ему церковную волю.

Слишком сильным католическим духом пропитано его контрреформаторское учение. Слишком сильным доводом в пользу этого взгляда выступают патриарх Филарет и особенно патриарх Никон с его теократическими притязаниями. Никон, который пусть через полтора века, но не на пустом же месте возник и не чужеродным же был в русской культуре телом, а напротив, венцом этой мощной иосифлянской ветви русского культурного древа.

И духа этого не мог не чувствовать в иосифлянстве Иван III с его опытом и проницательностью, если так хорошо чувствовали его даже рядовые боярские публицисты XVI века. И именно поэтому нестяжательство становилось в глазах Иоанна не только оправданием необходимой экономической акции, но и политической идеологией.

§ 6. ПОДГОТОВКА К ШТУРМУ

Приступал он к своей цели многократно, с упорством и осторожностью государственного мужа, ищущего не сиюминутной прижизненной выгоды, не сенсационного локального эффекта, но основания новой и фундаментальной исторической традиции.

Он был из рода Калиты, этот наш маккиавелист, из рода не только "издавна кровопивственного", как писал о нем Курбский, из рода, прославившегося не только интригами и коварством, но и неслыханным семейным упорством в достижении раз поставленных целей. Из рода, в котором, дед не смущался быстротечностью дней человеческих, ибо знал, что дело его поделают внуки и правнуки. Из рода, в котором каждый умел следовать за счастливой прадедовской звездой, не сворачивая, как будто внутри у него вмонтирован был политический компас.

И вот цель достигнута. "Отчина" собрана. Семейная звезда погасла. Поставлена точка. И тот, кто ее поставил, тотчас, без перерыва, берется зажечь новую звезду, выдвинуть новые цели, создать поприще, на котором будут состоя-

заться с ним его внуки. Они доделывают то, чего он не успеет. И ему, собственно, торопиться некуда. Важно заложить основу. Весь московский исторический опыт учил его, что государственные дела за одно поколение не делаются.

Он желал быть новым Иваном Калитой. И теперь, когда микроскопическое московское княжение стало великим русским государством, он терпеливо и упрямо, в длительном и упорном эмпирическом поиске пытался нащупать очертания новой программы: русское государство должно было стать государством европейским. И одной из первых ступеней на пути к этой новой звезде закономерно должна была стать секуляризация церковных земель.

Он бродил вокруг этой идеи давно. Не забудем, что в его распоряжении не было исторического опыта секуляризаций. И германский, и скандинавский, и английский опыт принадлежали следующему поколению. В его время они только созревали в умах европейцев. В умах, к которым по многим причинам Иван III доступа иметь не мог. Он пришел к этой идее самостоятельно. Он ее сам изобрел. Она была ему дорога. Он завещал ее потомкам как жемчужину своего политического опыта.

И не дано было ему знать, что безграмотный в политике внук его, получивший идею готовой, имевший сверх того в своем распоряжении богатейший опыт секуляризованной Европы, в эпоху, когда семена, брошенные Иваном III в скудную московскую почву, начали прорастать, когда на основе мощного экономического подъема и урбанизации страны стало возможно вместо любительской помещицкой конницы ввести модернизированную пехоту, в эпоху, когда пробьет для России час приобщиться к семье европейских народов, бездарный внук его не только не утилизирует дедовскую идею, не разовьет ее, не дополнит, но изломает и испакостит. Как, впрочем, сделает он со всем его политическим завещанием, со всею государственной программой своего великого деда...*

В 1476-78 гг. Иван III отнял у новгородского духовенства половину церковных волостей, "зане те волости испокон великих князей, а захватили их /владыки и монастыри/ сами".

эта конфискация могла быть истолкована как политическая репрессия. Но вот под 1499 г. читаем в Летописи, что снова "подмал князь великой в Новгороде вотчины церковные и роздал детям боярским в поместье... по благословению Симона митрополита". И сделано это уже без всяких политических мотивировок, это открытый вызов церковному землевладению, прямой п р е ц е д е н т, живое конструирование любезного сердцу Ивана III предания.

Далее предпринимается ряд частных попыток положить предел расширению церковных земель. Во всех вновь присоединяемых землях это становится правилом: на Белом озере, где был положен конец экспансии Кириллова монастыря, в Перми, где предложено было епископу вернуть "тем людям, у кого владыка те земли и воды и угодья поимел". В Твери, в Торжке, в Рязани, а также всем 30 родам суздальских князей запрещено было завещать монастырям свои земли "по душам".

И все-таки это были паллиативы. Нужно было искать чего-то более кардинального. Нужны были свои люди на монастырских верхах. И вот смиренного белозерского пустынножителя — Паисия Ярославова неожиданно назначают на один из самых высоких, ключевых постов в московской православной иерархии, на пост троцкого игумена. Суждено было кроткому старцу открыть политическую кампанию нестяжательства. Одно за другим в продолжение столетия выходили затем на политическую арену четыре поколения нестяжателей, откуда не были они уничтожены, подверстаны к еретикам при Грозном — Паисий был представителем первого, самого еще робкого поколения этой славной когорты ищущих борцов.

Но пост троцкого игумена был по расчету Ивана III лишь первым шагом в карьере отшельника. И, как только заболел митрополит Геронтий, Паисий тотчас будет рекомендован великим князем на святительскую кафедру, т.е. к самому рулю церковной политики.

Но тут и ожидало эту тактику первое поражение.

Во-первых, Геронтий выздоровел. А во-вторых — и это было гораздо хуже — отказался Паисий. Как рассказывает

С.М.Соловьев, он "объявил также, что сам никогда не согласится быть митрополитом: он по принуждению великого же князя согласился быть и троицким игуменом и скоро потом оставил игуменство, потому что не мог превратить чернецов на божий путь, на молитву, пост, воздержание: они хотели даже убить его". Или, как говорит под 1484 г. летопись, "не возможе чернецов превратить на путь божий и потому митрополи не восхоте". Иван III звал Паисия на борьбу против всей иерархии. Но смиренный старец не оказался борцом.

Пришлось рукоположить на кафедру симоновского архимандрита Зосиму, подозреваемого — и не без оснований — в ереси. Еще в 1480 г., приехав в Новгород и получив там донос на двух священников-еретиков Дионисия и Алексея, Иван III вовсе не опалился на них, как ожидали доносчики, гневом, а напротив, взял их с собою в Москву, где один стал неожиданно протопопом Успенского, а другой — Архангельского собора. Теперь еретик стал митрополитом.

Удивительно ли поэтому, что бдительный "обличитель" еретиков, неистовый Геннадий Новгородский, буквально каждый день вскрывавший новые еретические гнезда и исправно доносивший об этом в Москву, наткнулся на глухую стену? Мало того, что в Москве упорно молчали, не развязывая всероссийской антиеретической компании, которой он домогался. Мало того, что его просто не пригласили на поставление нового, и с весьма сомнительной репутацией, митрополита /"великий князь... в Москву не велел ехать"/. Теперь новый владыка еще потребовал от него нового архиерейского исповедания...

Ну, можно ли было стерпеть такое бесчестие? И мог ли молчать Иосиф, который писал епископу суздальскому: "С того времени, как солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не бывало такой ереси: в домах, на дорогах, на рынке все — иноки и миряне с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и св.отцов, а на словах еретиков, отступников христианст-

ва; с ними дружатся, учатся от них жидовству. А от митрополита еретики не выходят из дому, даже спят у него".

Обратите, пожалуйста, внимание, читатель, на то, как оживлена была идеологическая жизнь в абсолютистской Москве XV века, как горячи, как массовы споры, какую постыдную животворящую силой обладал тогдашний идейный плюрализм, то обстоятельство, что ни одна из конкурирующих концепций не была канонизирована властью, то, наконец, обстоятельство, что абсолютистская эта власть признавала идеологические ограничения и не пыталась надеть железный намордник на мысли и чувства подданных. Опустим даже детали, так ли уж сейчас важно, кто прав, кто виноват был в этих допотопных спорах? Посмотрите только, как веет дух мысли над этими архаическими, наивными спорами славян между собой, какая свобода суждений, какая открытость борьбы...

Скоро-скоро наступит конец этому пиру идей, этим неожиданным московским Афинам. Скоро гнетущая мертвая зыбь воцарится в духовной жизни Москвы. Скоро станут бежать из нее люди, задохнувшиеся в этой тюрьме мысли. Скоро иностранные наблюдатели станут иронизировать и ужасаться ее отсталости. Скоро тупость ее послов и чиновников станет притчей во языцех в Европе. Скоро станет она образцом азиатчины — невежественным и заносчивым.

И важно, необычайно важно вспомнить, что вовсе не всегда, вовсе не изначально так было, что умела Москва жить иначе. Вспомнить хотя бы затем, чтобы ответить современникам нашим, интерпретаторам русской истории, снисходительно оправдывающим это историческое несчастье "социально-экономической отсталостью Москвы", "тяжелым наследием трехсотлетнего татарского ига" и прочими пустыми стереотипами, придуманными для того, чтобы иметь право не замечать, что сделала с Россией крепостническая революция Грозного!

Ведь тогда, в исходе XV века, когда, казалось бы, "тяжелое наследие" должно было ощущаться всего тяжелее, тогда Россия еще жила полной жизнью, словно торопясь, словно наверстывая утраченные десятилетия — спорила, кипела, дралась

обличала, проповедывала. Не было казенного монолога власти. Был диалог — бурный, открытый и яростный.

И не забудьте, что происходило это все накануне срока, назначенного Апокалипсисом для всеобщего конца мира и явления грозного Судии. Вот-вот, через несколько лет истекало по библейскому счету седьмое тысячелетие, в исходе которого должен был вновь явиться перед очами потрясенного человечества Мессия. И перед лицом Страшного Суда творятся такие безобразия!

Как видим, страсти были накалены до предела. А наш маккиавелист получил серьезный урок: ересь оказалась опасным союзником в политических делах; она могла поспорить его с православием. Идти так далеко он был вовсе не намерен. Богословские подробности его нисколько не занимали, а доводить дело до открытого разрыва со взбунтовавшейся иерархией он не желал. Он выдал разъяренным "обличителям" несколько сбегавших в Москву новгородских еретиков. Собор осудил их, и Геннадий с торжеством катал их по новгородским улицам на лошадях, лицом к хвосту, в вывороченном платье, в венцах из сена и соломы, с надписью "Се есть сатанино воинство". Благочестивые новгородцы плевали им вслед и кричали: "Вот враги божии, хулителю Христа!"

Можно предположить, что этим дешевым спектаклем Иван III хотел добиться некоторой разрядки напряженности, снизить накал страстей, такой ценой сохранить Зосиму, Курицына и внука Дмитрия, которого намеревался венчать на царство. Но можно предположить и иное. А именно, что тогда и зародился у него в голове замысел великолепного и циничного политического сценария, поставленного несколько лет спустя на церковных соборах в Москве в 1503 и 1504 годах. Замысел о б м е н я т ь ересь на церковные земли! Клином выпить клином...

§7. ПЕРВЫЙ ШТУРМ

В самом деле, ведь тут он выигрывал дважды: и как политик, и как ревнитель чистоты православия. Это было един-

ственное средство утихомирить разбушевавшихся церковников и в то же время вырвать у них столь бдительно оберегаемые земли. Использовать самих "обличителей", самих непримиримых инквизиторов против церковных интересов. Он ведь так любил всю жизнь это коварное политическое маневрирование: дать страстям накалиться, разделить оппонентов, заставить их преследовать сразу две цели, а потом одну из них обратить против другой.

Есть документ, письмо Иосифа архимандриту андрониковскому Митрофану, духовнику великого князя, в котором "обличитель" рассказывает, как накануне Собора 1503 года Иван III пригласил к себе его, совсем еще недавно опального, и вел с ним длинную беседу о "церковных делах". И в беседе этой государь выдал "которую держал Алексей протопоп ересь и которую ересь держал Федор Курицын" и сноху свою обличил, Елену, признался, что "ведал ересь их¹" и просил за это прощения.

Какой смысл может иметь эта просьба могущественного повелителя, это отречение от друзей и советников, которых он многие годы поддерживал, эта ~~мольба~~ мольба, обращенная к человеку, которого он терпеть не мог, к угрюмому нонконформисту, преследовавшему весьма сомнительные цели, какой смысл может иметь эта беседа, как не предложение политической сделки?

И откуда у Иосифа эта прозорливость, когда утверждает он, что Собор 1503 года созван был, конечно, "попов ради, — их державу наложницы", только для наивных людей. А на самом деле для того, что великий князь "восхоте отнимати села у святых церквей и монастырей"? И разве таким уж это казалось невероятным: благословил же владька Симон совсем недавно аналогичный прецедент в Новгороде?

Но драма только начиналась. Собор поговорил — в согласии с повесткой дня — насчет вдовых попов, принял соответствующее постановление, остались дела третьестепенные. Виднейшие иерархи, в том числе и Иосиф, разъехались по домам. И вдруг является на Соборе ученик Паисия Ярославова,

знаменитый отшельник Нил Майков /Сорский/ со своими нестяжателями и произносятся жаркие речи против монастырского — заметьте, не вообще церковного, а только монастырского, еще одна попытка разделить оппонентов! — землевладения, и Собору неожиданно предлагается новая резолюция. Это был смелый и коварный ход, рассчитанный на то, чтобы заставить иереев врасплох. Второй ход — с жертвой ересью — пока что придерживался в запасе, он будет сделан лишь на следующем Соборе.

И все-таки, несмотря на столь тщательную дебютную подготовку, был, как мы сейчас увидим, допущен серьезный просчет — чисто идеологического свойства. Митрополит с Собором обдумали вопрос и решили отказать великому князю. Было выработано обширное послание со ссылками на Библию, левитские книги, святых отцов и даже на ордынские ярлыки, и всем Собором доложено государю. Естественно, левитские книги его не убедили. Собор снова заседает, тщательно редактирует ответ и посылает его во второй раз с дьяком Левашом. Но библейские тексты снова оставляют великого князя равнодушным.

Проф. А.С.Павлов, автор блестящего исследования о секуляризации церковных земель, вышедшего в Одессе в 1871 году, теряется в догадках: зачем понадобилось редактировать в третий раз? "Вероятно, — предполагает он, — великий князь потребовал каких-нибудь дополнительных разъяснений; по крайней мере, Собор еще раз послал к нему того же дьяка Леваша с новым докладом, в котором дословно повторялось содержание первого". Но тут же исследователь, сам себе противореча, добавляет, что в этом новом, третьем соборном ответе "только гораздо подробнее сказано о русских князьях, наделавших церковь волостями и селами". Так в этом же суть дела! Здесь-то и содержался убийственный довод, решивший вопрос. Довод, на который Собор набрел лишь с третьего захода. Надо полагать, что после того, как спешно вернулся Иосиф.

Против Ивана III выдвинута была тяжелая идеологическая

артиллерия, та самая могущественная русская "старина", на которую он ни разу за все 43 года своего царствования не посмел поднять руку, не будучи оснащен достаточно солидной "контрстаринной". И тут не могли уже помочь ни выдача еретиков, ни другие хитрые дипломатические ходы: просчет был не в дипломатии, подготовленной им мастерски, но в идеологии. Собор точно нащупал брешь в его собственной стратегии. Нашупал его ахиллесову пята — и ударил в нее беспощадно. — И самое главное, Иван III с этой стороны был совершенно беззащитен: моральные ламентации Нила Сорского не выдерживали конкуренции с железными канонами предания. А большего второе поколение нестяжателей дать ему не могло: снова не нашлось у него борцов и идеологов, одни только моралисты...

Вот что говорилось в этом роковом дополнении к соборному ответу, которым с большой, надо отдать им должное, политической изобретательностью и отвагой, отразили соборные старцы первый великокняжеский штурм: "такое ж и в наших российских странах, при твоих прародителях великих князьях, при в.к. Владимире и при сыне его в.к. Ярославле, да и по ним при в.к. Всеволоде и при в.к. Иване, внуке блаженного Александра... святители и монастыри грады, волости, слободы и села... и дани церковные держали".

Пройдет совсем немного времени, и поднимется новая, третья поросль нестяжательства, и загремит на Москве набатная язвительная проповедь знаменитого Нилова ученика князь-инока Вассиана Патрикеева, с которым не сможет справиться уже и Иосиф. И в ней будет все, что требуется для нового штурма святительских твердынь. Будет та самая "контрстарина", "контртрадиция", которую не сумел отыскать благочестивый, но политически неподкованный старец Нил и из-за отсутствия которой должен был снять первую осаду Иван III.

Вассиан тоже был его единомышленником и последовательным консерватором. Но в предании, в самой русской истории увидел он и еще кое-что сверх того, на чем акцентировали соборные старцы. "Испытайте и уразумейте, — проповедовал он, — кто от века из воссиявших в святости и соорудивших

монастыри заботился приобретать своему монастырю села? Кто молил царей и князей о льготе для себя или об общине для окрестных крестьян? Кто имел с кем-нибудь тяжбу о пределах земель или мучил бичом тела человеческие, или облагал их оковами, или отнимал у братьев имения... как делают ныне выдающие себя за чудотворцев? Ни Пахомий, ни Евфимий, ни Герасим, ни Афанасий афонский — ни один из них ни сам не держался таких правил, ни ученикам своим не предписывал ничего подобного". Далее подробно — с учетом печального опыта — исчисляются отечественные, "наши русские начальники монашества и чудотворцы" — Антоний и Феодосий Печерские, Варлаам Новгородский, Сергей Радонежский, Димитрий Прилуцкий, "они жили в последней нищете, так что часто не имели даже дневного хлеба; однако монастыри не запустели от скудости, а возрастали и преуспевали во всем, наполнялись иноками, которые трудились своими руками и в поте лица ели хлеб свой".

Это была могучая и опасная для церковников "старина". Именно тем опасная, что связывалась с современным монастырским настроением, что давала возможность изобразить его как кару Божию за измену великому преданию, за нарушение священной традиции, за поругание "старины"!

Да, благоверные прародители наши, великие князья и впрямь жаловали святителей и монастыри "градами, волостями, слободами и селами", было это, не отрицаем. Но, — вправе мы теперь негодуя воскликнуть, — "какая может быть польза благочестивым князьям, принесшим все это Богу, если вы употребляете их приношения несправедливо и лихоимственно, совершенно вопреки их благочестивому намерению? Сами вы изобилюете богатством и объедаетесь, сверх иноческой потребности, а братья наши крестьяне, работающие на вас в ваших селах, живут в последней нищете... Как хорошо вы платите благоверным князьям за их благочестивые приношения! Тогда как они приносили свое имущество Богу для того, чтобы его угодили, имея все потребное, беспрепятственно упражнялись в молитве и безмолвии, а избытки от годовых доходов с любовью

тратили на нищих и странников, вы или обращаете их в деньги, чтоб давать в рост, или храните в кладовых, чтобы после, во время голода, продавать за дорогую цену".

Да, это было прямое обвинение в предательстве "старин", которого так жаждал в 1503 году Иван III. Он развязал источники идейного творчества, и оно теперь развивалось самостоятельно и платило ему сторицей. Поднималась очень скоро, уже в третьем поколении блестящая интеллигенция, способная самостоятельно осмысливать мир, способная мыслить конструктивно и концептуально, как сам он не умел, приходили мыслители-профессионалы, готовые служить свою службу родине не мечом, и не кадилом, и не сохою, а тем, в чем сильны были только они, духом и мыслью.

Впервые на наших глазах демонстрируется тут рождение нового идеологического символа, о котором так хорошо сказал тот же твеновский янки: "Родина — это истинное, прочное, вечное... Учреждения же — нечто внешнее, вроде одежды, а одежда может изнашиваться, порваться, сделаться неудобной, перестать защищать тело от зимы, болезни и смерти. Быть верным тряпкам, прославлять тряпки, преклоняться перед тряпками, умирать за тряпки — это глупая верность, животная верность... С этой точки зрения, гражданин, который видит, что политические одежды его страны изнашивались и в то же время не агитирует за создание новых одежд, не является верным родине гражданином, он — изменник. Его не может извинить даже то, что он единственный во всей стране видит изношенность ее одежд. Его Долг — агитировать, несмотря ни на что, а долг остальных — голосовать против него, если они не видят того, что видит он". Вассиан, может быть, первым отделил родину от ее учреждений — и страстно, громко заявил об этом. И как переменились теперь роли!

Это Иосифу пришлось теперь выдвигать моральные аргументы, сильно, впрочем, смахивавшие на доносы. Это ему теперь пришлось бубнить, что "Нил и ученик его Вассиан похулила не токмо в русской земле чудотворцев... чудесам их не вероваша". Напрасно хлопотал Иосиф. Ему теперь могли

ответить твердо и прямо. Ему теперь самому могли переадресовать упрек в нарушении такой старины, как уважение к чудотворцам. "Ты лжешь на меня, Иосиф, и на моего старца Нила, будто мы похулили всех чудотворцев. Мы чтим киевских и всех русских чудотворцев и называем их знаменосцами... потому что они сохранили заповеди божии и жили по евангелию и апостолу, а не так, как живешь ты со своими учениками..."

Да, это было именно то, что нужно было Ивану III. Но самого-то его уже не было.

Он умер в 1505 году, вскоре после антиеретического собора на 67-м году жизни и на 44-м великого княжения, умер, не успев подготовить второй секуляризационный штурм, умер, не успев рассчитаться с обидчиками.

Впрочем, последней, предсмертной его акцией было неожиданное и до сих пор не понятое историками низложение в декабре 1504 г. знаменитого "обличителя" еретиков архиепископа Геннадия, только что вернувшегося ликующим победителем с московского собора и, казалось, пребывавшего на вершине своего могущества. Учитывая, что Иван III никогда ничего не делал зараз, сходу, что он и к Новгороду подбирался в свое время в два приема, с промежутком в восемь лет, можно достаточно уверенно предположить, что низвержение Геннадия было не столько мстью за отбитый первый штурм, сколько подготовкой второго. Иначе говоря, в его глазах Собор 1504 г. был не к о н ц о м секуляризационной кампании, как принято его толковать, а н а ч а л о м нового ее этапа.

Во всяком случае, такая гипотеза имеет ничуть не меньше прав на существование, нежели общепринятая. За нее и исторические прецеденты, и политичный характер Ивана III, и фамильная традиция Рюриковичей, и то обстоятельство, что оппоненты наши так и не смогли за долгие десятилетия объяснить свержение Геннадия в высочайшую минуту его торжества.

А против нее — ничего нет. Ничего... кроме сильного — своей очевидностью ф а к т а, что второго секуляризационного штурма в таких масштабах и с такой последовательностью

проведенного, после смерти Ивана III не последовало.

Не дает ли это нам основание заключить, как делал, например, Г.В. Плеханов — и все с ним согласились — что "спор о монастырских имениях, толкнувший мысль московских духовных публицистов в ту самую сторону, в которую так рано и так смело пошла мысль западных духовных монархомахов, очень скоро окончился мировой сделкой. Иван III покинул мысль о секуляризации монастырских имений и даже согласился на жестокое преследование ненавистных православному духовенству "жидовствующих", которых он еще так недавно и так недвусмысленно поддерживал".

Но, помилуйте, ведь "жидовствующие" вовсе не одно и то же с "заволжскими старцами". Если еретики нужны были Ивану III в целях тактических, для того, чтобы иметь формальный повод вмешиваться в кадровую политику церкви, то нестяжатели были его мозговым трестом, его идеологами, его союзниками в стратегическом его замысле. Да, в разгар политического кризиса, поставленный перед необходимостью тяжелого выбора, он выдал озверевшей иерархии "жидовствующих". Но не забудьте, что при этом не дал он тронуть и волоса на голове нестяжателей. Напротив, попытался, пожертвовав пешкой ереси, выиграть качество, иначе говоря, усилить нестяжателей!

Так не рискуем ли мы, приняв плехановскую гипотезу, поступиться реальной логикой всей совокупности фактов эпохи?

А между тем логика эта достаточно стройна и убедительна. Каждое абсолютистское государство стремится избавиться и, если этому не противодействуют чрезвычайные обстоятельства, избавляется от инородных анахронизмов, от конкурирующих с ним автономных феодальных образований. К этому стремлению и сводится, по сути, вся внутренняя политика Ивана III. И Рязань, и Новгород, и Тверь он нейтрализовал и унифицировал в несколько приемов. На очереди была самая мощная феодальная корпорация Руси, обязанная своим могуществом татарщине — церковь.

В 1480 г. Москва избавилась от внешнего ига. Церковь

как автономная корпорация была его живой наследницей внутри страны. Это был принципиальный политический спор. Это было продолжение Куликова поля и Угры. Это был, если угодно, вопрос о самом существовании русского абсолютизма. Так какие же у нас основания трактовать его как мимолетный, почти случайный и несущественный эпизод русской истории?

Да, удачливый и победоносный государь, с успехом до сих пор осуществлявший свои замыслы средствами дипломатическими и военными и уверовавший в их универсальность и силу, впервые, неожиданно для себя, наткнулся на сопротивление политическое. Да, он оказался не готов к такому сопротивлению. Да, он допустил ряд дипломатических просчетов, за которые и вынужден был расплатиться еретиками. Да, его побили его же методами, опираясь на его собственные идеологические постулаты. Но дает ли все это нам основание предполагать, что он отступился бы от задуманного, что не освоил бы новые методы борьбы, что, снова перестроив ряды, не пошел бы на штурм?

Ведь сделал же он то, чего никогда до него и никогда, увы, после него ни один русский государь не делал: создал из робких адептов "умного делания" боевую политическую партию нестяжателей, создал мозговой трест, способный к самостоятельному идейному творчеству, заложив тем самым первый камень в фундамент русской интеллигенции.

Так кто же может поручиться, что неспособен он был сделать то, что сделал в аналогичных обстоятельствах двумя столетиями раньше его коллега Филипп Красивый, т.е. противопоставить одной политической корпорации другую, более авторитетную? Иными словами, созвать сословия, превратив тем самым спор между государем и церковью в спор церкви со страной? Противопоставить авторитету предания авторитет нации? Церковно-татарской "старине" церковно-нестяжательскую "контрстарину"? Католической ориентации иосифлян светскую ориентацию нестяжателей?

Такая ли уж это фантазия, если вспомнить, что вся нестяжательская литература XV1 века полна апелляциями к

"единомысленному вселенскому совету", к "всенародным чело-
векам", другими словами, именно к русскому парламенту?
Если всего несколько десятилетий спустя после его смерти,
когда правительство, наконец, снова попало на краткий
срок в руки абсолютистов нестяжательского толка, Земской
собор был действительно созван и целое столетие еще потом
созывался? И самый расцвет русской публицистики, какого
не знала она потом вплоть до XIX века, расцвет, достигший
первого десятилетия царствования Грозного, разве не был
он угасающим отзвуком того громового удара, который соби-
рался грянуть над последней феодальной корпорацией Руси
в последние годы Ивана III?

Ведь игнорируя все это наметившееся здесь богатство
элементов политической культуры, рисуя серым по серому од-
ноцветную, однолинейную и однозначную картину русской ис-
тории, являя миру лик страшного ее автократического одно-
образия, историки наши как раз и солидаризуются со своими
оппонентами, с китаизаторами русской истории, с Ричардом
Пайпсом и его единомышленниками — имя же им легион — пыта-
ющимися лишить Россию как политического прошлого, так и
политического будущего...

КНИГА ВТОРАЯ

ПЕРВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
РУССКОЙ ИСТОРИИ
1564 - 1689 г.г.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПСЕВДОАБСОЛЮТИЗМ

1613 - 1689 гг.

§ 1. БЕЗЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ

Итак, миновал Звездный час первого глобального цикла русской истории. Миновало и Смутное его время. Наступила заключительная фаза цикла, его финальная эпоха. Пришло время окончательной расплаты за прошлое и подготовки будущего, грядет ХУП столетие.

Грядет - нескончаемое, унылое, мертвенное. С ним погружаемся мы в странную и скорбную трясину прозябания великого народа, насильственно лишенного своей интеллектуальной элиты, отброшенного автократией на далекую периферию цивилизованной ойкумены, к границам варварства и азиатского онемения. В трясину, которая походит скорее на исторический провал, нежели на историческое движение.

Правительство, получившее власть в исходе Смутного времени и в результате крушения всех его политических иллюзий и политических лидеров, под привычным азиатским высокомерием скрывает растерянность и неумение справиться со сложностью управляемой им системы, полную неспособность выработать позитивную государственную программу, остановиться на какой-либо определенной стратегии.

Один за другим приходят к власти люди посредственные, пустячные, лишенные элементарных государственных навыков, люди, которых хватает только на изобличение грехов своих предшественников, но у которых не хватает ни души, ни разума на исправление ошибок.

"Московское правительство в первые три царствования новой династии, — говорит Ключевский, — производит впечатление людей, случайно попавших во власть и взявшихся не за свое дело. При трех-четырех исключениях все это были люди с очень возбужденным честолюбием, но без оправдывающих его талантов, даже без правительственных навыков, заменяющих таланты, и — что еще хуже — совсем лишенные гражданского чувства".

Нет ни одаренных дипломатов, ни талантливых генералов, князь Иван Хованский, только и умеющий, что расстрелять стихийное народное возмущение, слышет первоклассным полководцем, "а наши послы, — говорит Юрий Крижанич, — отправленные к европейцам, навлекают на свой народ неопиcуемый позор своей необразованностью и грубостью".

Нет надежной информации о том, что творится в сопредельных странах. Прибыв в 1656 г. в Италию, стольник Чемаданов с удивлением узнает, что "герцога Франциска", к которому адресованы его верительные грамоты, не только сменил другой правитель, но и этого другого давно уже низложил третий. А несколько лет спустя Потемкин, прибывший в Испанию, на месте только узнал, что Филипп IV, к которому он прибыл, два года уже как умер...

Некому было вырабатывать стратегию, реорганизовать армию и хозяйство, возглавлять посольства и рати. Бездарны были не только правители и их чиновники, бездарна была и сама селекция кадров правящей автократии. Селекция, сквозь фильтры которой не могли проникнуть крупные талантливые люди. Селекция, толкавшая наверх ничтожную политическую мелюзгу, гениев аппаратной интриги, высокомерную посредственность. Что же и спрашивать было с таких кадров?

И удивительны ли при таком положении вещей те внешнеполитические итоги века, которые печально формулирует Ключевский? "Московская политика взяла необычайно большой курс: не жалели ни людей, ни денег, чтобы и разгромить Польшу, и посадить московского царя на польский престол, и выбить шведов из Польши, и отбить крымцев и самих турок от Малороссии, и захватить не только обе стороны Подне-

провья, но и самую Галицию... и всеми этими переплетавшимися замыслами так себя запутали и обессилили, что после 21-летней изнурительной борьбы на три фронта и ряда небывалых поражений бросили и Литву, и Белоруссию, и правобережную Украину... и даже у крымских татар в Бахчисарайском договоре 1681 года не могли вытянуть ни удобной степной границы, ни отмены постыдной ежегодной дани хану, ни признания московского подданства Запорожья".

Мудрено ли, что XVII век был "бунташным веком", веком непрестанного брожения и недовольства всех и всем? Может быть, таков закон политического безвременья, не знающего ни торжествующих победителей, ни поверженных оппонентов, безвременья, когда недовольны действительно все — и духовные, и миряне, и прогрессисты, и реакционеры, и националисты, и европеисты, и правящие, и управляемые, а правительство слепо мечется между ними, наспех залатывая сиюминутные прорехи, стараясь угодить тем и другим, и все невпопад, неуклюже, неловко? И начинания его приносят, как правило, результат обратный, не удовлетворяет одних и ожесточает других, и вместо того, чтобы сделать лучше, делает хуже — и плохо становится всем.

Вот, например, с какой слоновьей грацией попыталось правительство провести финансовую реформу, перенести центр тяжести с прямых налогов на косвенные. В 1646 году облагается пошлиной продажа соли и одновременно — для фальсификации правительственных намерений — демонстративно отменяются "ямские и стрелецкие деньги".

Реформа, конечно, проваливается с треском: потребление соли резко снижается, казна вылетает в трубу. И что же предпринимает правительство? Опять вводит отмененные "ямские и стрелецкие". И притом — и это самое замечательное — придает своему указу обратную силу, т.е. приказывает взимать старый налог за три года — 46, 47 и 48-й!

Страна отвечает, естественно, "соляным бунтом".

Еще раз повторяется та же история с введением медных денег и сообщением им принудительного курса в 50-е годы.

Введя медь, налоги казна продолжала собирать серебром!

В результате престиж меди, конечно, падает эквивалентно ее подлинной стоимости, а цены на предметы первой необходимости соответственно возрастают.

Положение становится нетерпимым, возникает "медный бунт", правительство изымает медь, обменивая ее на серебро, но... "но только и тут, — замечает К. Валишевский, — приходится удивляться, как гениальности московского сыска, так и терпению его подданных, так как обмен делается по одному на сто!"

Вот так работало московское правительство в своих внутренних делах, всякий раз доводя дело до упора, до мятежей и восстаний, до крови, мешая нормальному хозяйственному функционированию в полную меру своих сил и возможностей.

"Соляной бунт" в Москве в 1648 году и мятежи в Козлове, Томске, Устюге. Восстание в ~~Иппини~~ Пскове и Новгороде в 1650-году. "Медный бунт" в Москве в 1662 году. Страшный разинский мятеж в Поволжье в 1670-71 годах. Путч Соловецкого монастыря, шесть лет продержавшего на своих стенах раскольников знамя. Сам великий Раскол, всколыхнувший страну от Путивля до Архангельска, принесший на Русь инквизицию, грозные аутодафе и трагические "гари", где десятки тысяч людей "умирали за аз".

Так выражалось недовольство низов.

Но недовольны были и верхи...

Ощущение непокоя, неустроенности, сиротливости и тревоги, ожидание не то светопреставления, не то "невиданных мятежей" как электричество пронизывает все слои населения. Все таят про себя, а при случае и высказывают протест. Все знают, что плохо, но никто не знает, как сделать, чтобы стало хорошо. Каждая социальная группа с готовностью валит всю вину на другую и уверена, что стоит отнять несправедливо нажитое богатство у ее оппонентов — и все наладится.

Крестьяне видят все зло в боярах и помещиках, которых следовало вешать, начинять порохом и взрывать, топить в

крови. При случае — а случаев этих немало, как мы помним, было в XVII веке — они так и делали.

А эти самые изверги-помещики униженно взывали к царю: "нас, холопей твоих, и разоренных, и беспомощных... вели взыскать жалованием... чтобы было чем твоя Государская служба служить".

Гости и торговые люди, против которых возмущаются городские низы, совсем, оказывается, "оскудели, обнищали до конца", и вдобавок к тому "от воеводского задержанья и насильтва... торгов своих отбыли".

И это тоже была правда, ибо стоило ослабить пресс гиней, трофированной централизации управления, как система тотчас начинала расползаться по швам, как начинался в ней своеобразный процесс локализации власти, когда каждый воевода заводил у себя маленькую местную опричнину, куда более крутую и жесткую, чем в центре, кровью и железом водворяя свою периферийную "турецкую правду".

Князь Иван Хворостинин, высокопоставленный негиллист XVII века, вопиет, что "в Москве людей нет, все народ глупый, жить не с кем, сеют землю рожью, а живут все ложью".

"Русские всеми народами, — вторит ему из своей тобольской сенки Юрий Крижанич, — считаются лживыми, неверными, жестокосердными, склонными к краже и убийству, бестактными в беседе, нечистоплотными в жизни... А отчего это? От того, что везде кабаки, монополии, запрещения, откупы, обыски, тайные соглядаты; везде люди связаны, ничего не могут свободно делать, не могут свободно употреблять труда рук своих и пота лица своего. Все делается втайне, со страхом, с трепетом, с обманом, везде приходится терпеть от множества чиновников, обдирателей, доносчиков или, лучше сказать, палачей".

И даже сам патриарх Никон, писавшийся вслед за Филаретом "великим государем" этой страны — и тот недоволен. "Ты всем проповедуешь поститься, — пишет он царю, — а теперь и неведомо, кто не постится, ради скудости хлебной; во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего. Нет никого, кто был бы помилован... везде плач и

сокрушение; нет никого веселящегося в дни сии".

Поистине недовольство всеобщее, все растрожены, все подавлены, все критикуют жестоко. Но странное дело, обращаясь лицом к иным народам, те же самые критики становятся вдруг высокомерны и самодовольны, чувствуют себя гражданами "Третьего Рима", обладателями истинной веры и вообще всяческой истины, которые вправе указывать другим, как им жить, и работать, и веровать, так что последний московский пьяница представляется им выше образованного европейца, а московский только что клятый "образ жизни" — образцом для всех народов.

Вот эта странная смесь самобичевания и высокомерия, национального самоунижения и национальной мании величия — какой предмет для социально-психологического исследования! — смесь, обрекавшая общественное сознание на бесплодие и бессилие, отрицавшая самую необходимость учиться, обмениваться информацией, совершенствоваться, настаивавшая на отживших идеологических символах, отвергая во имя их наличные жизненные реалии, вот эта противоречивая смесь и была психологической доминантой века псевдоабсолютизма.

И мертвенная печать этого казенного бесплодия лежала не только на правительственных метаниях, но и на мятежных народных движениях этого "бунташного" века. Все три главных московских бунта: "Соляной", "Медный" и "Стрелецкий" начисто лишены были какой бы то ни было политической конструктивности. Требовали исправления каких-то особенно нелепых правительственных мероприятий, убивали на Лобном месте непосредственных их исполнителей, грабили богатые дома, разносили лавки — и тяжело утихомиривались этой кровью и грабежом, выпустив мятежный пар и подав власти сигнал неблагополучия.

XVII век был "бунташным" во всей Европе. В том же 1648 году, что и "Соляной" бунт в Москве, в Лондоне английский народ разогнал Долгий парламент и образовал верховный трибунал для суда над Карлом Стюартом, в результате которого 30 января следующего года он как "тиран, изменник, убийца и враг государства" положил голову на плаху. Но не будем говорить о Лондоне. Поговорим о Париже, где никакой буржу-

авной революции не получилось, где она тоже вылилась — и в том же самом 1648 году. — лишь в бунт, в знаменитую "Фронду". Но ведь и бунт этот выдвинул позитивную политическую программу, включая требование о предварительной проверке и свободном обсуждении в парламенте всех королевских эдиктов, вводивших новые подати, а также о прекращении арестов без предъявления обвинений и без представления обвиняемого в суд в течение 24 часов.

Так сравнимо ли это, спрашивается, с тем, что происходило в Москве?

Стрельцы практически владели Москвою, были хозяевами положения в ней летом 1682 года, добились того, чего не могли добиться ни Болотников, ни Разин — и что же? Что они предложили, что они сотворили, чему способствовали?

В том-то и дело, что ни графа подлинной оппозиционности, никаких альтернативных существующим моделям управления, никаких способов реконструкции хозяйства и общества — все эти движения в себе не содержали. И оттого они при всем размахе и потоках пролитой крови остались только печальным памятником общественного неустройства и политического бесплодия, которым, словно проказой, поражены были не только "верхние классы", но и их антиподы.

И само восстание Разина, возведенное под именем крестьянской войны в перл ХVII столетия нашей исторической наукой, что несло оно с собою? Если народное движение Смутного времени, возглавленное Болотниковым, было борьбой против закрепощения крестьянства и несло в себе, по крайней мере, в потенции, абсолютистскую альтернативу, если Пугачевская война век спустя знаменовала глобальный кризис крепостничества и уже поэтому, разбудив общественную мысль, как бы катализировала политическую историю, то ведь восстание Разина никакой социальной функции не исполнило. И, потрясая воображение лишь масштабом и жестокостью разбоя, привело, как все в этом фатальном столетии, к обратному результату — к консолидации эксплуататорских классов перед лицом общего

врага, к репрессиям, которые были так же бесплодны и жестоки, как и вызвавший их разбой. Негативный характер этого восстания доказывается уже тем, что Разин широко рекламировал свой союз с автократом Никоном, тем самым противопоставляя себя волнующимся раскольничьим массам, отрезая самую возможность коалиции с наличным массовым движением.

Да, боярская контркультура отошла уже в Смутное время, в вечность, ничего не свершив. А другая страна еще не располагала.

И подобно тому, как местничество, именно сейчас, накануне окончательной своей отмены, расцветшее самым роскошным цветом, было всего лишь социальной компенсацией боярству за его политическое ничтожество, так и гипертрофированный, ставший самоцелью разбой Разина был социальной компенсацией крестьянству за полное отсутствие позитивной политической альтернативы.

Пустынно было на Руси без интеллекта, темно и глухо, как беззвездной, как волчьей степью ночью...

Мудрено ли, что как от чумы бежал отсюда всякий, у кого была такая возможность, как бежал сын Афанасия Ордина-Нащекина Воин, которого просто "тошнило от Москвы"? Мудрено ли, что князь Иван Голицын говорил польским послам:

"Русским людям служить вместе с королевскими людьми нельзя ради их прелести — одно лето побывают с ними на службе, — и у нас на другое лето не останется и половины лучших русских людей"? Мудрено ли, что так умножается в это время число "невозвращенцев"?

У Григория Катошихина, оставившего нам написанное на чужбине первое систематическое отечественное описание московской жизни XVII века, читаем: "... для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычай, и вольность благую, начали б свою веру отменять и приетавать к другим, и с возвращением к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили. И о поездке московских людей, кроме тех, которые посылаются по указу царскому... ни для каких дел ехать никому не позволено. А хотя торговые люди

ездят для торговли в иные государства, - и по ним по знатных-
нарочитых людях собирают поручные записи, за крепкими пору-
ками, чтобы им с товарами своими и с животами в иных госу-
дарствах не оставися, а возвратитися назад совсем. А кото-
рый бы человек, князь или боярин, или кто-нибудь сам, или
сына, или брата своего послал для какого-нибудь дела в
иные государства без ведомости, не бив челом государю, а
такому бы человеку за такое дело поставлено было в и з -
м е н у, и вотчины, и поместья, и животы взяты б были на-
царя; и ежели б кто-нибудь сам поехал, а после его остались
сродственники, и их бы п ы т а л и, не ведали ли они
мысли сродственника своего".

И это в той самой Москве, куда еще тремя-четырьмя по-
колениями раньше, в абсолютистское ее столетие, "втекали"
славные, знатные люди, ища себе благословенного отечества!

Как же низко надо было пасть стране, чтобы держать
своих сограждан насильно, цепями и в то же время уверять
мир, что она самая прекрасная на свете, единственная, пра-
вославная, "последняя Русь"!

§ 2. "МЯГКАЯ" ОПРИЧНИНА

Единственное, что удавалось в этом печальном столетии
Москве - экспансия. И может, именно потому, что экспансия
эта была мощным, ураганным, с т и х и й н ы м процессом,
что никто ее не руководил, никто не ставил ей сознательных
целей, и оттого она лишена была печати казенного бесплодия.

Именно в XVII веке Москва на глазах превратилась в ту
великую Россию, которую мы знаем сегодня, в шестую часть
земного материка. За полтораста лет бесчисленные местные
Кортесы и Писарро увеличивают ее размеры в восемь раз.
Другими словами, еще семь (!) таких же Московий стало ря-
дом с традиционной Московией Ивана III к концу царствования
Алексея Михайловича.

Эта беспримерная, уникальная в истории метаморфоза
походила на чудо. словно бы почти полная правительствен-
ная неспособность к и н т е н с и в н о м у развитию

культуры компенсировалась здесь титанической народной энергией экстенсивного расширения территории. Словно бы вся сила и предприимчивость великого народа, не имея возможности обратиться к цивилизационной работе над собой, обращалась в работу колонизационную.

Но страшно дорого обходился народу этот парадоксальный гамбит, эта жертва интенсивностью экстенсивности, точнее становящаяся отныне чертой его политического опыта. И в первую очередь цена ее воплотилась в том, что управление настолько автономизировалось от системы, что стало как бы государством в государстве, на глазах превращалось в метрополию, бессовестно эксплуатирующую собственную страну как отсталую и бесправную колонию.

Дело шло уже не о простой дивергенции целей управления и системы, а буквально о ликвидации самостоятельных целей системы. Не будучи в силах воспользоваться европейской технической культурой в масштабах глобальных, власть пользовалась ею исключительно в своих, частных интересах. Не умея поднять производство страны до тогдашних мировых стандартов, потреблять она тем не менее желала именно по этим стандартам.

Русская Власть не хотела признавать, что живет в России. В Государстве Власти все должно быть европейского ранга.

Кольбер основывал для Франции по две мануфактуры в год. Русская Власть тоже основывала мануфактуры. Но не для России — для себя. Ей строили иностранцы стеклянные заводы, суконные и шелковые фабрики. Страна могла обойтись и без них.

Уже Сюлли при Генрихе IV тратил, примерно, 1/15 всех государственных доходов на устройство дорог, мостов и каналов. Осушенные болота указом были приравнены к дворянским землям. И те, кто по своей охоте принял участие в их осушении, на много лет освобождались от всех налогов. При самых безумных автократических издержках царствования Людовика XIV Кольбер все же находил миллионы ливров на разви-

тие и поддержание путей сообщения. В России даже не было ведомства, которое занималось бы такими делами. Русские граждане могли преспокойно тонуть в грязи на дорогах: это было их частное дело. Зато власть располагала специальным ведомством по доставке царской семье из-за границы чулок и перчаток.

Знаменитые фруктовые сады во Владимире обслуживали только Власть, а виноград и вино получала она из виноградников, специально устроенных в окрестностях Астрахани французом, выписанным для этого из Пуату. Для доставки ей свежего молока функционировала в Подмоскovie неслыханная по тем временам молочная ферма из 200 отборных коров. 3 тысячи парадных лошадей и 40 тысяч упряжных постоянно кормились в опричных конюшнях. 300 поваров и поварят приготовляли ежедневно 3 тысячи изысканнейших европейских блюд в опричных кухнях. И это в то самое время, когда благочестивый монарх настойчиво призывал страну поститься.

Под страхом строжайших наказаний запрещены были на Руси даже примитивные зачатки искусства, скоморохи и медведевозатые, в протесте против которых истощал свое красноречие раскольничий апостол Аввакум. Да что Аввакум, когда сама официальная церковь определенно усматривала в скрипках и флейтах выпумку дьявола. А в Государстве Власти Иоганн Готфрид Грегори преспокойно представлял Эсфирь и Орфея, улаждая высочайших слух этими самыми сатанинскими скрипками.

В эпоху Ньютона — после Коперника, Кеплера и Галилея! — из астрономии Россия знала один только календарь, да и то раскольники ставили на вид, что это манихейская выдумка. Когда западно-русский ученый Лаврентий Зизаний, составивший первый православный катехизис, просил смиренно, чтоб напечатали его в Москве, патриарх Филарет отдал его сочинение своим цензорам. И потрясенный Зизаний, пожаловавшийся на чудовищные купюры в напечатанном экземпляре, услышал в ответ: "мы пропустили, что велел нам святейший патриарх, что было написано у тебя о кругах небесных, и о планетах,

и о зодиаке, и о затмении солнца... потому что те статьи... с правозерием нашим не сходны". Оракулом Москвы в космографии считался Козьма Индикоплов, египетский монах У1 века, полагавший землю четырехугольной...

Но в Государстве Власти уже в 1650 году переведена была книга Везалия — в о д н о м экземпляре!

В эпоху бурного развития науки, когда словно грибы после дождя вырастают в Европе Академии, считающие среди своих членов Гука, Вайля, Ньютона, Мальпиги, Лейбница, Левенгука, в России не было даже начальных школ; "арифметике люди наши не учатся и поэтому не умеют вести счет в такой торговле, которая идет на сотни тысяч", — жалуется Крижанич.

А Государство Власти открывает для ученого надзора над идеями свою Славяно-Греко-Латинскую академию, в юрисдикцию которой входит цензура и осуждение виновных в уклонении от средневековых канонов на ссылку в Сибирь и даже на костер. Конечно, и она отмечена была печатью казенного бесплодия. Став поприщем схоластической борьбы между латинистами и эллинистами, занявшись актуальной проблемой выбора учителей для русской науки между Аристотелем и Иоанном Златоустом, московские академики оказались совершенно несостоятельны в качестве учителей жизни — социальных мыслителей.

Зато в качестве цензоров и надзирателей они оказались на высоте, ознаменовав учреждение академии инквизиторским процессом и сожжением в 1689 году ученика Якова Беме, Кольмана... х)

Массу хлопот задал историкам пресловутый "Приказ великого государя тайных дел". Зарубежные ученые склонны трактовать его как инквизиционный "кровавый трибунал". Което

х) Характерно, что когда в конце XIX века В. Соловьев публично упомянул, что в православной церкви существовала инквизиция, К. Леонтьев потребовал: 1) выслать Соловьева из России, 2) запретить все книги Соловьева, покамест тот с покаянием не возьмет своих слов назад.

Костомаров предполагал в нем прародителя русской политической полиции. Так же, например, трактуется он в новейшей работе Н.Б.Голиковой "Органы политического сыска и их развитие в XVII-XVIII вв".

Но уже К.Валишевский обратил внимание на то обстоятельство, что этот странный "кровавый трибунал" "занимался в разное время и выпискою из-за границы плодовых деревьев, и возражениями в газетах по поводу их описания польских побед... и удовлетворением любознательности царя по части истории, и покупкою попугаев для царских птичников, и подробностями управления его любимым монастырем".

Так может быть, вовсе не был Приказ тайных дел политической полицией? Тем более, что для сыска о "государевом слове и деле" создаются в это самое время специальные следственные комиссии с чрезвычайными полномочиями, прообраз якобинских политкомиссаров, предназначенные вершить в последней инстанции суд и расправу. Нет, был, пожалуй, Приказ тайных дел просто параллельным правительством Государства Власти. Был управляющим органом новой опричнины, ставшим над всей приказной системой, над всей администрацией страны и сконцентрировавшим в себе всю полноту политической власти. В такой форме возродилась, повидимому, грозненская двухслойность опричного управления.

Но правде говоря, эту тайну псевдоабсолютизма выдал еще в середине XVII века Григорий Катошихин, засвидетельствовавший, что "устроен тот Приказ при нынешнем царе для того, чтобы его царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, а бояре бы и думные люди о том ни о чем не ведали." Так что же было это иное, как не новый символ политической дезинтеграции страны, как не новая Александровская слобода царя Алексея Михайловича, где "он чувствовал себя дома, настоящим древнерусским государем, хозяином среди своих холопов-страдников, мог без помех проводить свою личную власть"?

Да, опять была опричина.

Но все-таки была это совсем другая опричнина — и похожая и не похожая на опричнину Грозного.

Различие между ними бросалось в глаза. Оно было так же очевидно, как различие между хищными гангстерами гиреевского Крыма, бессмысленно разорявшими чужую страну, — и татарской империей Батая, желавшей превратить эту страну в часть собственной державы и эксплуатировать ее долго, основательно и в свое удовольствие.

Впрочем, различие это заслуживает более подробного анализа. Давайте попробуем его хотя бы вкратце сформулировать.

Если опричнина Грозного упорно старалась ликвидировать все экономические ограничения власти, то псевдоабсолютизм дал дворянству возможность добиться для своих поместий вотчинного статуса, т.е. практически допустил реставрацию частной собственности на землю.

Псевдоабсолютизм не устраивал разбойных набегов на монастыри и посады, когда ему нужны были деньги. Он "занимал" у них эти деньги. Разумеется, без отдачи: такого явления как государственный долг на^в Москве выведено не было. Но все-таки он не заливал отечество потоками крови и не разорял вконец хозяйство, как Грозный. На протяжении четверти века (1654 — 1680) он два раза брал "пятую деньги", т.е. 20% от всего имущества и дохода посадских и торговых людей, пять раз брал "деньгу десятую" и один раз "пятнадцатую". Не удивительно, что, как жаловались гости и торговые люди, они "оскудели и обнищали вконец". Но они по крайней мере остались живы и здоровы, чтобы накапливать для казны новые деньги.

Псевдоабсолютизм ввел в общественный оборот категорию "политической смерти" для устраняемых с арены активной деятельности работников руководящего аппарата. При Грозном все они, вплоть до самих организаторов опричнины, немедленно уничтожались физически. И это даже считалось само собою разумеющимся, так как руки каждого из них были по локоть обгажены кровью его предшественников и конку-

рентов: потерять в такой ситуации благоволение и защиту тирана все равно означало для них смерть. Тиран же, со своей стороны, был заинтересован, чтобы все его сотрудники и даже сыновья связаны были кровавой порукой — это давало ему возможность манипулировать ими по собственной воле. Категория "политической смерти" — естественное последствие отказа от террористического режима — разрывала, наконец, этот заколдованный круг и давала работникам руководящего аппарата элементарное чувство личной безопасности, открывала возможность некоторой независимости мнений и фракционной деятельности хотя бы в узком правительственном кружке и не стимулировала безоглядного политического авантюризма.

Псевдоабсолютизм прибегал во всех особо затруднительных случаях, а в первой половине века и систематически к мнению "всей земли", иначе говоря, пытался хоть в какой-то степени наладить обратную связь между управлением и системой.

Псевдоабсолютизм создал свод законов, Уложение 1649 года, хоть и варварское и крепостническое, где смертная казнь предусмотрена была не менее 60 (!) раз, даже за незначительные правонарушения, в том числе и за такие проступки, как опоздание в исполнении приказов или за ошибки аптекарей в дозах медикаментов. Но все-таки, он поставил принципиально начало правопорядка на место, где безвозбранно царствовал произвол.

Псевдоабсолютизм не сносил беспощадно и без разбора все думающие головы, как Грозный. Он терпел интеллект. Правда — в ссылке, в далекой Сибири, в Тобольске, который стал вдруг на время интеллектуальной столицей России, где беспрепятственно общались между собой изгнанники. Псевдоабсолютизм готов был даже терпеть в известных пределах и некоторый идейный плюрализм. Ну, например, в последние годы царствования Алексея, а при Федоре и Софье тем более, в ходу была открытая вражда между двумя, если можно так выразиться, научными школами, Чудовской — "греческого учения" и Заиконоспасской — "учения латинского". Вражда, ко-

торой церкви — без того изнемогающая в борьбе с Расколом — терпеть не желала, а власть, словно бы вдруг вспомнившая о временах Ивана III, не только терпела, но и благоприветствовала стороне, церковной иерархии противной. Во время известного богословского спора между латинистами и грековизантами о пресуществлении господнем, в котором Сильвестр Медведев выступил против греческих профессоров, братьев Лихудов и стоящего за ними патриарха Иоакима, власть поддерживала его. И еретическую "Манну", которую написал против церковных лидеров медведев, заказала ему сама правительница Софья. И обличение Лихудов, написанное в Киеве, привез в Москву сам премьер Голицын...

Как видим, при всей своей описанной выше извращенности и убожества, при том, что заслуги его были свойства чисто отрицательного, при всей своей неспособности к позитивному государственному строительству псевдоабсолютизм был, разумеется, предпочтительней Звездного часа автократии. Поэтому и назовем мы его, в отличие от жесткой опричнины Грозного, опричниной — "мягкой".

Ибо все-таки не приводил он в полный хаос хозяйство и общество, все-таки минимизировал свойственную всякой автократии дезорганизацию производственного аппарата, все-таки оставлял известную свободу для движения мысли, возможность накопления экономических и интеллектуальных ресурсов.

Оставляя, стало быть, стране возможность выбора исторической альтернативы. Возможность предотвращения нового Звездного часа автократии. И самое главное — возможность ее абсолютистской реконструкции.

§ 3. "КЛАССОВАЯ БОРЬБА" И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Вот этой-то возможностью выбора и интересен убогий и "бунташный", псевдоабсолютистский и экстенсивный русский XVII век для философии истории. Из-за нее-то и представляет он не белое пятно на ее политической карте,

не исторический провал, а живую, нуждающуюся в исследовании реальность.

Но прежде чем приступим мы к этому исследованию, нам нужно, конечно, так сказать, застолбить свой участок, обозначить те конкретные границы, которые отделяют нашу концепцию как от зарубежных, так и от отечественных оппонентов.

С зарубежными тут, впрочем, все само собой очевидно. Для азиатского деспотизма никаких исторических альтернатив, по крайней мере, на рубеже средних веков и нового времени, существовать не могло, а стало быть, толковать и исследовать здесь было попросту нечего.

Точка зрения нашей исторической науки как всегда косвенно подтверждает эту позицию. И в лице ее союзника мы и на этот раз не найдем. Декларируя со своей обычной безапелляционностью, что "буржуазная наука" не сумела даже грамотно поставить проблему "нового периода" в русской истории, сама она громогласно объявляет, что суть этой проблемы заключается в "формировании всероссийского рынка" и конечно же, главным образом, в "классовой борьбе".

Прекрасно. Это предположение было бы ничуть не хуже любой другой гипотезы, если бы принятым в науке непротиворечивым образом объясняло события "нового периода".

Но ведь этого нет совершенно. Ведь гипотеза, провозглашенная как откровение "истинной науки", остается сама по себе, а история — тоже сама по себе. Остается, превращаясь при том в бессвязный набор событий, хронологически следовавших друг за другом, в компендиум, достойный пера средневекового хрониста, напроочь лишаясь какого бы то ни было концептуального стержня.

Ну вот, с точки зрения концепции автократии, с точки зрения псевдоабсолютизма как заключительной фазы первого глобального цикла нашей истории, как "мягкой" опричнины, открывавшей возможность разрыва заколдованного автократического круга, остановиться понятно, по край-

ней мере, что было важно, а что несущественно в этом ХУП веке. Метаморфоза автократии в абсолютизм, если бы она состоялась, действительно могла бы изменить судьбу России. А что могли изменить в них бесчисленные московские, а тем более периферийные мятежи или само даже восстание Разина?

Они были, и объяснить их историю несложно, но ведь задача-то заключается не в этом, а в том, чтобы о них объяснили историю. И вот это как раз не получается.

Ну возьмем для примера исследование акад. М. Н. Тихомирова о псковском восстании 1650 года, считающееся в нашей историографии классическим. Тихомиров недвусмысленно именует это восстание "революцией", его лидеров — "революционным правительством", а тех псковитян, которые ему препятствовали — "контрреволюционными силами". Он считает псковское восстание крупнейшим событием века, провозглашая, что "наибольшей силы революционное движение достигло в Пскове, который в продолжении шести месяцев фактически не подчинялся московскому правительству".

Так выглядит дело в преамбуле. Но едва мы подходим к конкретному материалу, к анализу так называемой "большой челобитной", с которой обратились к царю псковские революционеры, едва знакомимся мы с характером их требований, нами тотчас овладевает недоумение. Судите сами, первым делом эти революционеры считают необходимым смиренно и верноподанно заверить своего царя, что "о воровском, государь, ни о каком заводе ни у кого совету не было и ныне нет же". А о каком "заводе" было? Чего требуют мятежники? Чтобы жалование служилым людям выдавалось сполна и в указанные сроки? Чтобы воеводам запрещено было брать взятки и заставлять горожан бесплатно на себя работать? Чтобы подати платились не по старым, писцовым, а по новым, дозорным книгам? Чтобы церкви ремонтировались и заработная плата духовенству выплачивалась сполна?

Но что, скажите, революционного в этой мольбе защитить холопей своих, которые, кстати, нисколько не тяготясь своим холопским званием, от засилья воевод и дьяков? Ведь революционеры эти не только не хлопчут о сломе старой

государственной машины, о замене одного господствующего класса другим, они даже элементарных норм городского магдебургского права, так широко распространенных в порубежных с ними городах шведских и литовских, не говоря уже об украинских, не добивались.

В требованиях их нет даже речи об административной автономии, которую уже столетие назад дала поморским крестьянам абсолютистская Избранная рада!

Ведь их даже бюргерской оппозицией нельзя назвать, не то что революционерами. Требования этой бюргерской оппозиции, как говорит Энгельс, "носили чисто конституционный характер". А здесь и речи не было о конституции!

Так спрашивается, какую же роль сыграло это крупнейшее, по мнению акад. Тихомирова, никогда не оспоренному в нашей историографии, событие века в политической эволюции московского государства, в развитии его институтов и в движении его идей? Что реально изменило оно в политической фактуре века? Для чего послужило движущей силой? Какую конкретную программу выдвинуло? Какую память, кроме архивной документации, по себе оставило? Какова была его позитивная социальная функция?

Ровно ничего не сообщает нам об этом акад. Тихомиров, как и все, впрочем, многочисленные его комментаторы. Похоже, что они просто такими вопросами не задавались. И "классовая борьба" опять оказывается сама по себе, а история сама по себе...

§ 4. СМОЛЕНСКИЙ ПОЗОР

Программа воцарившегося на Москве в 1613 году правительства Михаила Романова была сугубо прагматической. Идеальной ее целью была, конечно, реставрация существовавшей до Смутного времени системы управления и хозяйствования. Но во-первых, сама эта система содержала в себе, как мы знаем, внутреннее противоречие: до Смутного времени были и опричнина и Избранная рада, следовательно, два "старых

порядка" — абсолютистский и автократический, различие между которыми правительство представляло себе весьма смутно. Во-вторых, приходилось считаться с реалиями разоренной страны. Я не говорю уже о том, что смоляне присягнули Владиславу, новгородцы — шведскому королевичу Филиппу, а у Габсбургов в Вене и у Султана в Стамбуле тоже были на старте претенденты на русский престол. По всем этим причинам политика московского правительства не могла на практике преследовать других целей, кроме элементарной стабилизации своего положения.

В 1617 году по миру в Столбове со шведами Москва вернула себе Новгород, но вынуждена была смириться с тем, что от Финского залива была отныне отрезана наглухо. Так было покончено с притязаниями Филиппа.

В следующем году после неудачного похода Владислава с казаками на Москву заключено было 1 декабря Деулинское перемирие с поляками на 14 лет и 6 месяцев. По условиям его Москва потеряла Смоленск, Дорогобуж, Чернигов, Новгород Северский, т.е. всю стратегическую систему крепостей, прикрывавшую ее западную границу. В обмен поляки отпустили в Москву царского отца, бывшего тушинского патриарха Филарета, которому вскорости предстояло стать патриархом московским, соправителем Царства и, как писался он в официальных бумагах, "великим государем". Так было покончено с притязаниями Владислава.

С 1619 года под влиянием Филарета московская внешняя политика обретает некий стержень. Целью ее становится возвращение утраченной стратегической границы, а стало быть — новая война с Польшей. Этой цели подчиняется не только вся внешняя и военно-организационная политика Москвы, но по сути и вся жизнь государства. Вот это как раз умели здесь издревле — сосредоточить усилия на одном каком-нибудь пункте, с маниакальной прямолинейностью, ничего вокруг не замечая и ничего не щадя, устремиться к узкой локальной цели, жертвуя ей любыми другими интересами, не говоря уже о народном благосостоянии.

К войне готовились долго и тщательно. Закуплено было за границей 10 тыс. мушкетов с фитилями. А чтобы было кому из них стрелять, заодно приобрели и несколько полков наемных мушкетеров. Созвали Собор, который по случаю истечения срока Деулинского перемирия, а также кончины в апреле 1632 года короля Лигимонта и обычного во время избрания нового короля переполоха, постановил отомстить полякам за все обиды.

Для этого положили собрать специальный "смоленский налог", взяв с гостей и торговых людей пятую деньгу, а с бояр, окольников, стольников, дворян и детей боярских — "вспоможение", именуемое "запросные деньги".

66 тысяч человек, включая наемные полки, и 158 пушек двинулись под командой боярина Шеина к Смоленску.

... 3 марта 1634 года все было кончено. Оставив раненых, пушки и знамена победителям и согласившись на полную капитуляцию, Шеин отбыл с восемью тысячами больных и обмороженных людей к Москве, чтобы принять как изменник смерть на Лобном месте. Заодно отсекли голову и второму воеводе, Артемию Измайлову.

На самом деле ни о какой измене, да еще со стороны столь почтенного воина, речи быть не могло. Речь могла быть лишь о неспособности московских военачальников. О том, что реорганизация войска производилась безграмотно. Что главную его силу попрежнему составляло неквалифицированное ополчение. Что опыта сотрудничества с иноземными полками у этого ополчения не было. По сути дела на Смоленск послали ту же армию Грозного, которая уже на полях ливонских сражений доказала свою полную недееспособность в европейской войне. И не Шеину с Измайловым превратить было этот бесплодный аналог испанской "великой армады" в эффективное орудие национального отмщения. Но где же, однако, видано, чтобы людям отсекали головы за их недостаточную одаренность?

На самом деле несколько десятков тысяч русских людей снова обречены были заплатить своими головами за военно-

организационную и политическую бездарность правительства.

И здесь хочу я обратить внимание читателя именно на эту, стратегическую сторону дела. На то, в частности, что главный удар Шейну под Смоленском нанес вовсе не король Владислав, у которого и было-то всего 20 тысяч войска, а те же самые крымчаки, неожиданно вторгшиеся в южные области России. Как раз это новое татарское нашествие и выкачало, подобно гигантскому насосу, из армии Шейна самые бое-способные ее силы, "украинских" дворян и казаков, в разгар компании отправившихся на далекий юг спасать свои дома и "животы", которые не в силах было защитить правительство.

Русское войско просто напросто расплошалось на глазах у своих воевод, распалось на куски. И они ли, воеводы, были в том повинны, если распад этот произошел не столько по военно-организационным, сколько по политическим причинам? Ведь эта антиевропейская стратегия московского правительства — в который уже раз! — продемонстрировала здесь свою полную неэффективность. Та самая стратегия Грозного, которая основана на игнорировании южной, татарско-турецкой угрозы, которая опять, словно в дурном сне, безумно поворачивала фронт "на Германы", оставляя незащищенными азиатские тылы державы.

А между тем никакой объективной необходимости в этом не было. Между тем, в Европе как раз в 1618 году, в канун этого нового поворота "на Германы", начиналась жестокая Тридцатилетняя война, расколовшая весь материк на два враждующих лагеря — габсбургский и антигабсбургский. Война, в которой христианский король французский, оплот всемирного католичества, возглавил коалицию протестантской Европы и мусульманской Турции против своих единоверцев.

Какая опять открывается для Москвы неожиданная возможность занять позицию "третьего радующегося", подороже продать свой вооруженный нейтралитет, залечить, покуда врагам было не до нее, свои раны — и главное — тщательно и спокойно подготовить антитатарскую стратегию. Покуда турки насмерть схватились с императором, Польшей и вдоба-

вок еще ~~в~~ Персией, покуда с севера вторгся в Германию великий король стремительно набравший силу протестантской Швеции Густав-Адольф, взявший курс на польский престол, покуда противники истощали друг друга, связывая друг другу руки, покуда с Запада никакой реальной угрозы в предвидимом будущем не ожидалось, — разве не в самую пору было Москве расчитаться с Крымом, вырвать, наконец, из рук султана этот Дамоклов меч, на столетия занесенный над ее головой? Разве не представила ей еще раз история неожиданный шанс отыграться за все художества Грозного и Смутное время?

Что сделала Москва в этой драматической ситуации, мы уже видели. Ослепленная своей провинциальной враждой к Польше, утратившая европейский уровень политического мышления, как будто бы не замечающая, что творится вокруг нее, она сосредоточила все силы державы на подготовке смоленской войны. На подготовке смоленского позора.

"Поистине ~~шии~~ достойна сожаления наша несчастная политика: мы стремимся воевать там, где мы должны были бы со-держать постоянный мир, а вместо того пробуждаем спящих псов; где же следовало бы дать отпор дерзкому врагу, там мы откупаемся дарами и все-таки терпим беспрестанно разбой и опустошения, отдаем безбожному врагу чуть не все добро земли своей, а собственный народ доводим до голода, до отчаяния".

Как видит читатель, это вовсе не я говорю. Это говорил триста лет назад в секретной записке царю Алексею современник событий Юрий Крижанич. И мы будем еще иметь случай убедиться, что не один он, что многие здравые русские умы у ж е т о г д а понимали дело именно так, уже тогда уразумели нелепость антеевропейской стратегии московского правительства. Другое дело, что их не слушали...

Другое дело, что продолжали громоздить ошибку на ошибку, платя страшную цену за традиционное презрение к интеллекту. Что, например, в виде субсидии Густаву-Адоль-

фу продали ему по дешевке все хлебные запасы государства. Шведскому королю впору было ликовать: втридорого перепродав русский хлеб голландцам, он оплатил все свои военные расходы и получил возможность оказывать новые услуги туркам на полях Тридцатилетней войны.

Но каково было стране, лишившейся своих запасов, обремененной стать жертвой первого же неурожая, который, конечно, не замедлил последовать. Каково было стране, посадские и торговые люди которой оплатили смоленский позор пятой частью всего своего имущества?

И ради чего страна должна была идти на такие жертвы, на голод и разорение, на гибель десятков тысяч своей молодежи? Ради того, чтобы Густав-Адольф уселся на польский престол? Разве стало бы Москве лучше, если бы вместо слабой Речи Посполитой появился на ее западной границе новый грозный колосс, объединивший силы Польши и Швеции? Разве не должна была бы Москва всеми силами стараться не допустить этого, противодействовать такой зловещей перспективе — вместо того, чтобы самой совать голову в петлю? Ведь это же очевидно!

Увы, московские политики научились не замечать даже очевидного.

Однако здесь самое время обратить внимание читателя и на другую сторону дела: на способность русской автократии учиться на собственных ошибках. Ибо именно здесь мы отчетливо видим меру этой способности различных ее фаз.

Нет, псевдоабсолютистская автократия не станет, подобно Грозному, вколачивать в безнадежную затею новые жертвы, не растянет, как он, эту драму в кровавую эпопею на четверть века, дезорганизуя страну и обрекая ее на новую смуту. Нет, она окажется достаточно благоразумна и осторожна, чтобы смириться с первой неудачей, стерпеть поражение, представив в качестве искупительной жертвы головы своих полководцев.

Стало быть, если в первой, начальной фазе своего цикла

автократия к самокоррекции не способна в принципе, то в заклучительной, третьей фазе она уже оказывается к ней готова. Правда, готова она лишь к корректировке частичной, негативной, как это было в случае с "медным" и "соляным" бунтами или в исследуемом случае смоленской войны. Но все-таки если не исправить, то понять свою ошибку она пытается. Однако сил для позитивной национальной самокритики она в себе не находит, к ревизии архаических опричных догм, к решительному пересмотру их идеологического содержания, к выработке альтернативной политической стратегии она была неспособна попрежнему.

§ 5. КРЫМСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

В чем же в данном случае могла бы состоять такая альтернатива? Вспомним, ведь и Казань не далась Москве даром. Несколько поколений московских дипломатов и воинов готовили это великое торжество, лавры которого достались Грозному.

Прежде всего Москва пыталась добиться в Казани политического влияния, поддерживая одних кандидатов на престол против других, субсидируя своих фаворитов, эксплуатируя политическую нестабильность режима гангстерского государства, не просто платя казанским царям "поминки", а добиваясь взамен лояльности, а впоследствии и покорности. Ибо субсидии эти шли не просто царям, от которых хотели откупиться, а только ставленникам Москвы, защищавшим ее интересы.

Точно такую же политику, как мы помним, начал проводить ИВАН Иван III и в отношении Крыма.

Вторым элементом этой политики было постепенное приближение к казанским границам московских крепостей и островов как опорных пунктов политического и военного влияния. При Василии III построен был Васильсурск. При Избранной раде Свияжск. Именно опираясь на эти остроги, Москва смогла в решающий момент сконцентрировать войска, чтоб начинать казанские походы не от Нижнего Новгорода, а от самых границ враждебного царства.

Откупаться от крымчаков, платить перекопскому разбойнику унижительную дань как наследнику Золотой орды, задабривать его и улачивать — это было уже изменой абсолютистской традиционной политике. Это было нововведение Грозного, было, следовательно, ошибкой, которую требовалось ревизовать.

И какая же вытекала бы из этой ревизии практическая политика?

Пользуясь тем, что Европе и туркам не до Москвы, предоставив полякам и шведам выяснять свои отношения самостоятельно, спокойно, без реваншистской истерики и крайнего напряжения народных сил реорганизовать армию, доведя ее при помощи иностранных инструкторов до мировых стандартов. А покуда суд да дело — с традиционным московским упорством и терпением придвигать к крымским границам свои новые крепости и остроги, стараясь превратить их в опорные пункты для политического воздействия на крымские дела. Постоянно вмешиваться в них, выставляя одних претендентов на престол против других. Оспорить у султана политическую монополию в Крыму, подыскивая себе союзников, да не за рубежом, а у себя под носом из донских и днепровских казаков. Дать таким образом выход их военной энергии, а заодно и подчинить их своему влиянию, что могло предотвратить и Разина, и многое иное.

Нет сомнения, что и поляки, и Габсбурги смотрели бы на такую политику благосклонно, так как она сковала бы боевую силу султана — перекопских татар и сберегла бы им силы для борьбы со шведами.

Судьба отводила такой подготовительной политике, как показал реальный исторический опыт, не менее четверти века. А за это время многое можно было сделать. И прежде всего не допустить несчастной и бесплодной смоленской войны. Не было бы голода и позора. Не было бы оскудения торговых людей. Да и просто политика страны получила бы ясную, точную национальную цель, которая безусловно пользовалась бы поддержкой народа, ибо не было на Руси семьи, не отдавшей родичей в турецко-татарский плен.

Ведь читаем мы даже в учебнике "История СССР", который

о такой альтернативе не подозревает, что "в ближайшие полтора десятилетия после заключения "вечного мира" с Польшей до конца XVII века основное содержание русской внешней политики составляла борьба против Турции и Крыма". Но если это оказалось возможным в конце века, если, иначе говоря, это было неизбежно, то отчего же невозможно было это в середине столетия, когда Россия не испытала еще горечи поражения и унижений, не отдала еще правобережную Украину султану и вообще, когда еще возможен был сознательный выбор стратегии?

И наконец — и это, быть может самое важное — крымская альтернатива избавила бы Москву от позорной азовской капитуляции 1642 года, о которой и поведем мы сейчас речь.

§ 6. АЗОВСКАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ

Дело в том, что именно в пятилетия 1637–1642 гг. Войско Донское взшло в зенит своего могущества. И в самом его начале казаки на свой страх и риск удивили мир, захватив в июне 1637 года первоклассную турецкую крепость Азов, которая была по сути не только воротами, но и при наличии хотя бы минимального флота — ключом к Крыму. Держа в своих руках Азов, можно было диктовать Крыму политику.

Само собою разумеется, что это была перчатка, дерзко брошенная могущественной Турции. И кем? Не Москвою даже, а Войском Донским! Само собою разумеется, что первой реакцией московских политиков был испуг. Что уже в сентябре того же 1637 г. царь отправил в Стамбул грамоту, в которой отмежевывался от своевольных казаков, утверждая, что они взяли Азов "воровством".

"И вам бы, брату нашему, — униженно писал царь, — нас досады и нелюбья не держать за то, что казаки Азов взяли: это они сделали без нашего повеленья, самовольством, и мы за таких воров никак не стоим, и ссоры за них никакой не хотим, хотя их, воров, в один час велеть побить; мы с

вашим султановым величеством в крепкой братской дружбе и любви быть хотим."

Но одних извинений султану Мураду было мало: ему нужен был Азов. А казаки, хотя, по уверению царя и воры, да Азова не отдавали.

... И Мурад расценил это весьма серьезно. К 1639 году он уладил персидские дела, а в мае 1641 двинул под Азов 240-тысячную рать при ста осадных пушках.

Результат был ошеломляющий. Четыре месяца спустя, положив под крепостью 20 тысяч янычар, турки вынуждены были снять осаду и ретироваться. Оказалось, что турецкая непобедимость — миф. Турок можно было бить. Перед ними вовсе не обязательно было дрожать. Казаки доказали это, можно сказать, экспериментально.

Но они и сами потерпели урон. "Мы наги, босы и голодны, — писали они царю, — запасов пороху и свинца нет, а от этого многие казаки хотят идти в рознь, а многие переранены". И только тут правительство заколебалось. Царь похвалил воров за подвиг, который мог иметь первостепенное государственное значение. "Мы вас за эту вашу службу, — писал он, — раденье, промысел и крепкостоятельство похваляем". Он даже не ограничился похвалой. Он выдал врагам премию, "и мы, великий государь, послали к вам пять тысяч рублей."

Но одним материальным стимулированием обойтись тут нельзя было. Тем более, что новый султан Ибрагим собирался самолично весной 1642 года постучаться в азовские ворота, а если повезет, то и в ворота Москвы. 3 января 1642 года царь созвал Собор.

О Соборе этом, очень важном и знаменательном, высказаны были историками русского представительства мнения противоположные. Б. Чичерин считал его прямо постыдным: "В Азовском соборе... нельзя не видеть упадка соборного устройства. По своей чисто совещательной форме, по разрозненности поданных мнений, он напоминает времена, предшествовавшие междоусобице; по отсутствию всякой политической мысли, по наивно высказывающимся эгоистическим стремлениям сословий, он не делает чести тогдашнему обществу. Грустно смот-

реть на этот последний памятник нашего древнего земства."

К.Валишевский полагал, что Собор посоветовал воевать Азов, а правительство его не послушало.

В.Сергеевич и В.Латкин пришли к выводу противоположному. Латкин даже постулировал, что "Михаил Федорович был народным царем, управлявшим государством в интересах всех земских чинов и идти в разрез с народными желаниями было не в его духе. Вот почему невозможно, чтобы в таком важном деле, как в Азовском, он решился действовать не так, как хотел народ."

Нас, однако, занимает сейчас не столько оценка Собора, или его отношений с царем, сколько оценка Собором политического положения в стране. Сколько его точка зрения на правительственную стратегию и необходимость стратегии альтернативной. А в этом смысле мнение его было как раз вполне однозначно.

На Соборе представлено было 195 депутатов, не считая духовных и думских людей. Мнения резко разделились. Духовенство, стольники и дворянство московское /всего 43 депутата, стало быть, меньшинство/ высказались неопределенно, но достаточно прозрачно намекнули, что воевать с турками не стоит.

Примером такой "сказки" может служить мнение голов и сотников московских: воевать или нет — дело государя. Где в случае войны изыскать для нее средства — тоже в государственной воле. "А мы, холопы его Государевы, ему, Государю, Царю и Великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси служить рады и готовы, где Государь не укажет."

Эта казенная готовность, способная, казалось бы, служить подтверждением нигилистической оценки Чичерина, входит, однако, в резкое противоречие с мнением подавляющего большинства депутатов, состоявшего из дворянства провинциального, а также представителей торговых людей, черных слобод и сотен.

Прежде всего двое московских дворян, Никита Беклемишев и Тимофей Желябужский подали уже 4 января особое мне-

ние, сводившееся к следующему: "Объявить туркам войну, зависит от государя. Но он должен знать, сколько зла причинили Московскому государству турецкий султан и крымский царь, сколько раз крымский царь давал обещание не воевать с нами и сколько раз его нарушал! Сколько пленных взято в украинских городах и продано Крыму! А что сделали крымцы в 1633-34 гг., когда Москва находилась в войне с поляками? Они вторглись в московские пределы и разорили их, вследствие чего множество ратных людей должны были удалиться из-под Смоленска и оттого учинилось в полках великое нарушение... По нашему мнению, государю следует Азов принять и велеть его держати донским казакам. Необходимо также послать к ним ратных людей из Москвы и из украинских городов изо всех чинов опричь крепостных и кабальных людей и дать им хлебные запасы и жалованье. Азов же укрепить и восстановить в нем разрушенное. Если же в государевой казне не хватит денег на жалованье, то нужно в ы б р а т ь о т в с я к и х ч и н о в по два, по три добрых человека и, обязав их крестным целованием говорить правду, велеть им собирать деньги с приказных, с дворовых людей, и со вдов, и с недорослей, и с гостей, и с торговых людей, и со всяких чинов. Те лица, которые служат у корыстовных дел по воеводствам и по приказам также обязаны жертвовать, чтоб никакого неравенства не было... Даточных же людей взять с больших мест, с монастырей и с пожалованных людей, у которых много поместий и вотчин... Пусть богатые выставляют больше людей, чем бедные..."

И именно эти мотивы, мотивы социальной, финансовой, административной и в первую очередь политической реконструкции как п р е д в а р и т е л ь н о г о у с л о в и я войны, мотивы передачи изыскания средств для войны в руки представителей "от всяких чинов", в руки земской комиссии, эти мотивы, к сожалению, не замеченные исследователями Азовского Собора, зазвучали в "сказках", поданных группами провинциальных делегатов, все резче и резче.

Они и определили лицо этого Собора.

Делябужский и Беклемишев явно хотели сыграть роль новых Минина и Пожарского.

И смысл их особого мнения, как легко увидит читатель, сводился к тому, что война может быть успешна только как война национальная, только как всеобщий народно-религиозный порыв, которому должны пожертвовать своим достоинством все слои общества, не исключая и привилегированных московских людей.

По сути то же самое говорят и представители городов Суздаля, Юрьева, Переяславля-Залесского, Белой, Костромы, Галича, Арзамаса, Новгорода, Ржева, Ростова и Пошехонья: "необходимо тебе, великому Государю, принять Азов под свое покровительство и начать войну с турками за все их великие неправды по отношению к тебе. Если же ты, Государь, отступишь от Азова, то в руки бусурман попадет образ Иовина Предтечи. Как бы этим не навлечь гнева божия..."

Но к благочестивому этому пожеланию прибавлялось и кое-что совсем иное. А именно то, что "ныне бояре пожалованы, Государь, тобою поместьями и вотчинами против их чести, дать даточных людей они вполне могут. Дьяки же и подьячие, находясь постоянно у твоих дел, разбогатели богатством неправедным своим издоимством... С их вотчин и поместий вели, Государь, взять ратных, конных и пеших людей, а также обложить их налогом на жалованье войску..."

Но не одни бояре и дьяки уклоняются от жертв на ведение национальной войны. "А которые, Государь, наша братия писались по Московскому списку и в иные твои Государевы чины и разбогатели большим богатством, тоже должны на войну жертвовать. Дворовые твои Государевы всяких чинов люди, бывая через год или два на приказах в твоих дворцовых селах, наживают великие пожитки, а твоей полковые службы не служат".

Другими словами, воевать с татарщиной следует. Следует и потому, что дело это благочестивое, и потому, что от войны все равно не уйдешь, ибо бусурманская татарщина — бич божий. Но бессмысленно воевать с татарщиной внешней,

не избавившись от татарщины внутренней, не разрушив опричнину!

Вот же о чем на самом деле все время упорно толкует большинство Азовского Собора!

А гости и торговые люди выдвигают аргумент и вовсе убийственный: невозможность вести одну внешнюю войну — без основательной внутренней реконструкции — уже доказана экспериментально. Доказана на опыте нелепой смоленской кампании, стоившей столько крови и денег. "Мы, холопы твои, гостишки и гостиной и суконной сотни торговые людишки городовые, питаемся на городах от своих промыслишков, а поместий и вотчин за нами нет никаких, службы твои государевы служим на Москве и в иных городах ежегодно беспрестанно, и от этих беспрестанных служб и от пятинные деньги, что мы давали тебе в смоленскую службу ратным и всяким служилым людям на подмогу, многие из нас оскудели и обнищали вконец... а в городах всякие люди обнищали и оскудели до конца от твоих государевых воевод... А при прежних государях в городах ведали гусские старосты, а посадские люди судились между собою, воевод в городах не было, воеводы посылаемы были в украинские города для береженья от тех же турецких, крымских и нагайских татар".

Значит, живы и сейчас, в середине XVII века, спустя столетие после давно погибших и погребенных под руинами Ливонской войны и Смутного времени, в народной памяти реформы Избранной рады, абсолютистские воспоминания о том, как "посадские люди в городах судились между собою", значит, не глуха оказалась к ним консервативная народная мысль. Значит, не на ветер все-таки брошены были усилия абсолютистских политиков и даже Грозному выкорчевать их оказалось не под силу!

Нет смысла цитировать здесь полностью совпадающую с этим мнением и еще сильнее подчеркивающую роль смоленского опыта "сказку" старост и сотских черных слобод и сотен: всюду одно и то же. Большинство Собора твердо стояло на своем. Большинство Собора отказывалось отвечать одно-

значно на предложенную ему казенную альтернативу: воевать или не воевать.

Большинство Собора противопоставило ей принципиально иную альтернативу: если воевать, то на два фронта, против обеих татарщин, внешней и внутренней. Если война, то война не чета смоленской. Война народная. Война за справедливость. Большинство Собора выдвинуло здесь по сути альтернативную государственную стратегию, обнаружив недюжинное политическое мышление и хозяйственную сметку, выдвинуло в противовес опричной — стратегию абсолютистскую! ...

Сейчас можем мы констатировать, сколь странную нигилистическую глухоту проявил в оценке Азовского Собора Б. Чичерин, по существу, просто не поняв ни смысла его, ни значения. Увы, и противники его, споря по частностям и увлеченные доказательством недоказуемого тезиса, что "Михаил Федорович был народным царем", оказались не в силах противостоять знаменитому оппоненту. Вот каким образом сводит концы с концами в своем приговоре В. Латкин: "Большинство выборных вполне сознавало необходимость присоединения Азова, но в то же время государство было разорено, народ бедствовал и начинать новую войну было бы безумием... Таким образом, думать, что в Азовском вопросе Михаил Федорович поступил вопреки мнению народа, было бы в высшей степени ошибочно... исполнил ли царь мысль народа? Да, он исполнил и действовал вполне в интересах народа".

Что говорить, В. Латкин, конечно, очень обязал бы нас, если бы заодно растолковал, каким таким трансцендентальным способом смог царь выяснить "истинную волю" народа, когда подавляющее большинство представителей этого самого народа совершенно недвусмысленно высказали волю противоположную. Нет, разумеется, правительство не послушалось воли народа. Разумеется, оно было антинародным, опричным, полутатарским правительством. И для него было бы самоубийством согласиться на абсолютистскую стратегию, предложенную ему представителями русского народа, и развязать национальную войну за Азов, ~~или т.е.~~ войну против самого себя. Все это, к сожа-

нию, слишком очевидно.

Но ведь и представители народа сделали, что могли: точно так же, как за сто лет до них Избранная рада, сумели они связать намертво в один политический узел борьбу с татарщиной внешней и внутренней, обусловить одну другою...

Рассудите же после этого, читатель, действительно ли не было в России XVII века абсолютистской оппозиции.

А я ведь цитировал только давным-давно находящиеся в научном обиходе документы, нет здесь никаких открытий, все это общеизвестно. И тем более горько, что целые десятилетия пролежало все это втуне, не употребленное в дело, что покорно терпели мы уподобление своей страны восточной деспотии, послушно мирились с отрицанием ее европейской альтернативы, не смели поднять голос против тех зарубежных "малыаров", которые на наших глазах окрашивали ее во все оттенки однообразных желтых китайских тонов!

Как же, однако, надо не любить отечественную историю, какими надо быть равнодушными к ней людьми, чтобы профессионально ею занимаясь, имея под руками поистине бесценные сокровища документов, употреблять их лишь для софистических оправданий тирании, для апологии восточного деспотизма! Как можно говорить после этого, что Петр с его новой опричной революцией, с его новой полуазиатской тиранией, Петр, уже подстерегающий бедную Москву за очередным политическим поворотом, был единственной и однозначной ее перспективой, ее исторической судьбой?

Нет, Петр был расплатой за бездарность и ничтожество псевдоабсолютистской автократии. За ее неумение реорганизовать страну. За ее нежелание слушать свой народ, который говорил, как мы слышали, дело. За ее страх перед своим народом. За установленную ею автономию управления от системы. Петр был судьбой автократии, а вовсе не судьбой России.

Да, автократия сумела навязать себя русскому народу. Да, она обманула его, притворившись его благодетельницей. Да, он оказался бессильен распутать эту политическую паути-

ну. Да, ничем, кроме разбойных бесплодных путчей, не смог он ответить на ее ложь, лицемерие и двоедушие. Но даже в самые глухие и мрачные времена жили в нем инстинктивный протест и мятежное недовольство вместе с политическим и вполне европейским здравым смыслом.

Стало быть, не зря ратовал Вассиан Патрикеев, работал Курбский, мудрили Ляпунов и Салтыков, не зря работала русская мысль, физически уничтожаемая, изгоняемая за границу и ссылаемая в Сибирь, искалеченная цензурой и воспитываемая тюрьмой. Не зря — ибо на самом дне такого смрадного колодца, какою была русская жизнь XVIII века, теплился еще и мерцал огонек интеллекта, огонек оппозиционной контркультуры. И когда пришел Радищев, пришел Пестель, пришел Лавров — они и сами не ведали, что не с неба упали на русскую землю, как получается у наших историков, а были правнуки Курбского и Салтыкова и внуки большинства Азовского Собора. Как не ведали, что станут пращурами многих и многих русских оппозиционеров и нонконформистов, которых, наряду с собственными Платонами и Ньютонами, на всем своем протяжении, от самого начала непрерывно рождает русская земля.

... 30 апреля 1642 года царь послал казакам грамоту с повелением покинуть Азов.

§ 7. ПОЛЬСКО-ШВЕДСКО-ТУРЕЦКАЯ ЭПОПЕЯ

Азовская капитуляция так же однозначно определила всю дальнейшую внешнюю политику московского правительства, как ливонская катастрофа определила ее самое. Если политика эта и могла бы служить памятником чему-либо, то разве некомпетентности и непрофессиональности опричного правительства. Помимо этого, философского содержания в ней не имеется. И она, быть может, и не заслуживала бы воспроизведения, если бы не позиция нашей исторической науки, которая, как мы могли видеть неоднократно, в теоретической области обрушивает на проклятый царизм самые грозные инвективы, а в политической — умудряется слагать его победам и завоева-

ниям благостные мадригалы.

Например, завоевание Украины воспевается в ней под псевдонимом "воссоединения Украины с Россией" как некий подвиг царской политики, исполненный мудрости и благочестия. На деле это была одна из самых бездарных кампаний, которую когда-либо вела псевдоабсолютистская опричнина — плод характерного для фазы автократии отсутствия государственной стратегии.

Западные казаки, днепровские, были гораздо культурнее и развитей своего московского аналога, казачества донского. Я не говорю уже о том, что азовская капитуляция нанесла смертельный удар самосознанию Войска Донского, что после нее начинается его разложение, что не сумев утилизировать его военную организацию в качестве кинжала, приставленного к горлу перекопцев, Москва своими руками превратила его в кинжал, приставленный к собственному горлу.

В отличие от нее Польша еще при Стефане Батории создала на Днепре автономную военную организацию, так называемый реестр, члены которого имели статус свободных рыцарей и существовали иждивением варшавской казны и своих холопов.

Этот реестр использовался как вспомогательное военное орудие в борьбе с Москвою и Турцией. Гетман Сагайдачный приходил, например в 1618 году с Владиславом под Москву, а потом ходил с ним против турок. Однако польские государственные мужи, за исключением нескольких блестящих умов, были в общем под стать московским, не говоря уже о том, что постоянное двоевластие и вражда между королем и сеймом делали их политику практически неспособной к самокоррекции, а тем более к прогнозу. Так и проглядели они ряд сильных социальных и политических изменений, произошедших на Украине со времен Батория.

Смысл этих изменений сводился к тому, что на протяжении гигантской, по территории и населению равной самой метрополии, страны, которую Польша привыкла рассматривать как колонию, постепенно сложилась в лице реестрового казачества своя национальная элита. Над одним обездоленным и

закабаленным "хлопством" предстояло схватиться двум шляхтам, двум дворянским элитам — господствующей и потенциальной. Причем, вторая, украинская элита имела возможность использовать в своей борьбе за власть над этим "хлопством" такую могучую силу, как освободительная идеология. Могла, другими словами, использовать то самое "хлопство", которое собиралось закабалить.

Даже фанатический враг православия, иезуит Скарга признавался, что нет на всем земном шаре другого государства, где бы так обходились с крестьянами, как в Польше. "Владелец или королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что он зарабатывает, но и убивает его самого, когда захочет и как захочет, и никто не скажет ему за это дурного слова".

Удивительно ли при таких условиях, что вся деятельная и активная часть украинского крестьянства, все его потенциальные лидеры устремлялись казаковать, и Польша никак не могла удержать реестровое казачество в узких первоначальных рамках 6 тысяч человек? Снизу подпирали реестр все новые и новые силы. И он грозил либо лопнуть, либо возглавить антипольскую оппозицию.

Одним словом, Польша получила, наконец, в лице Украины свой Алжир. Свершилось то, чего полтораста лет назад так ждал и на чем строил свою политику Иван III: православный фундамент вздымал на дыбы католическую Речь Посполитую.

В свое время Литва ~~наблизилась~~ избежала этой участи посредством унии с Польшей. Теперь крах грозил уже объединенному государству. Наступало и для него свое Смутное время.

Была ли возможность избежать катастрофы? Бесспорно. Для этого нужно было только немножко здравого смысла и политического предвидения. Поменьше экстремизма и побольше склонности к компромиссу. Для этого нужен был свой Де Голль. Модель рационального разрешения конфликта дал — после десятилетия кровопролитнейших поражений, после титанической гражданской войны, после того, как события приняли необратимый характер — Гадячский трактат, подписанный 16

сентября 1658 года гетманом Выговским.

Согласно его статьям, Украина получала статус автономного "Великого княжества русского", соединенного с Польшей федеративной связью и входившего в Речь Посполитую на тех же правах, что и Литва.

Украинский клир, не желавший подчиняться московской патриархии, городская буржуазия, избалованная магдебургским правом и муниципальными вольностями и, наконец, казачество, сбросившее с себя узкие рамки реестра и приравненное в правах и привилегиях к шляхте, — все желали именно такого разрешения вопроса, приносившего Украине и собственную государственность и гарантии национальной независимости. Но было поздно.

Десять лет назад, в 1648 году надо было подписать такой трактат. А сейчас, когда в дело вмешались султан и царь, и шведский король, когда крымские татары составили ударную силу Хмельницкого, и от них зависело, победит он в очередной битве или потерпит поражение, сейчас было поздно.

Украина должна была остаться разорванной на части, переходящей из одних чужих рук в другие, истекающей кровью. Не оказалось у Польши своего ~~де~~ Голя. А на Украине Хмельницкий до последних дней ~~своей~~ ~~своей~~ жизни ~~нигили~~ метался между проектами подчинения Москве или подчинения Турции, или провозглашения себя самого великим князем Киевским "единовладным самодержцем русским", или каким-нибудь герцогом Чигиринским.

Он говорил польскому послу: "Переверну я вас, ляхов, вверх ногами, а потом отдам в неволю турецкому царю". И он же говорил гонцу московскому: "Вот я пойду, изломаю Москву и все Московское государство; да и тот, кто у вас на Москве сидит, от меня не отсидится". А военачальники его угрожали: "Мы пойдем на вас с крымцами. Будет у нас с вами, москаль, большая война за то, что нам от вас на поляков помощи не было."

Вся беда Хмельницкого была в том, что собственными силами — без союза с Москвой или с Польшей, или с Турцией,

или на худой конец со шведами и венграми — он не смог бы удержать в повиновении обманутое "хлопство". Что земля горела у него под ногами. Что о действительно народной, действительно антикрепостнической войне он и не помышлял. Что стремился он только к ограниченной цели, стремился сменить польско-украинскую элиту украинско-польской, а в обстановке гражданской войны и глобального кризиса достижение этой локальной цели было для него непосильно.

Вот почему, как говорит про него Ключевский, "истый представитель своего казачества, привыкшего служить на все четыре стороны, Богдан перебивал слугой и союзником, а подчас и предателем всех соседних владетелей, и короля польского, и царя московского, и хана крымского, и султана турецкого, и господаря молдавского, и князя трансильванского и кончил замыслом стать вольным удельным князем малороссийским при польско-шведском короле, которым хотелось быть Карлу X".

... Почти шесть лет созерцала Москва пожар, бушующий на Украине, — и все колебалась, проученная горьким опытом смоленской и азовской капитуляций, все не могла решиться избрать определенную программу действий.

Но самые интересные повороты ожидали еще московскую политику после Переяславской рады 1654 года, когда Москва уже согласилась наложить свою руку на Украину. Выпестованная за 20 лет иностранными инструкторами, но увы, не изменившая от этого своего архаического лица московская армия сначала нанесла ряд поражений ослабленным полякам и захватила не только Смоленск, но и Минск, Ковно, Гропно, и наконец, самое Вильно. Алексей Михайлович въехал на белом коне в древнюю столицу Ягеллонов и первым делом повелел именовать себя "великим князем Литовским". Вся православная Западная Русь — и Литва, и Белоруссия, и Украина — была теперь в руках Москвы. Исполнилась как будто бы заветная мечта Ивана III: православный динамит взорвал Речь Посполитую. А с севера вторгся в нее Карл X и ненароком захватил обе ее столицы, Варшаву и Краков. В Вильне сел московский вое-

вода, в Киеве — Хмельницкий.

В середине XVII века польско-литовское государство как-то внезапно перестало существовать. Москва ахнула. Такого результата никто не ожидал в ней, не предвидел и даже не желал. Таких сложных узлов в ней распутывать не умели. Тотчас в головах всех участников политической игры зародились самые фантастические замыслы. Можно было, например, разделить Польшу между Москвой и Швецией, но кому бы это было выгодно? И что сказала бы на это Турция? Что сказал бы император?

Хмельницкий придумал другой, антирусский план раздела Польши — между ним, Карлом X и семиградским князем Ракоци. Тем самым Москва втягивалась в длительную войну с венграми за Литву, а он, Хмельницкий, становился самовладным Киевским господарем под номинальным покровительством Швеции, которой досталась бы Великая Польша, Ливония и Гданьск.

Но и этот план не учитывал ни крымского хана, ни султана, ни императора, которые, оказавшись обделенными, горю встали на защиту гибнущей Польши.

Возможны были и еще самые разные комбинации. Например, новый союз поляков с казаками, который, впрочем, и осуществился, и обошелся Москве страшно дорого, когда Зыговский с татарами наголову разгромил под Конотопом лучшую русскую армию Шереметьева.

.. Попробуем проанализируем ситуацию сами. Прежде всего следовало, наверное, привязать к себе только что обретенную Западную Русь. Непосредственно завоевать ее и удержать силой было очевидно невозможно. В исчезновении Польши и замене ее могущественной шведско-польской державой, охватывавшей Москву с севера и запада и наглухо отгораживавшей ее от Европы, Москва тоже не была заинтересована. Наконец, не следовало забывать о главной, о татарско-турецкой угрозе. Так что же было можно сделать?

Разве нельзя было вступить на тот же путь, на который запоздалым Гадячским трактатом вступила Польша? И более того, опередить ее на этом пути? Разве нельзя было дать За-

падной Руси автономный статус, привязав ее к себе федеративной связью? Ведь тогда не было бы измены Выговского и конотопского разгрома. Не было бы раскола Украины и повода для вмешательства турок. Это же предел мечтаний украинского и белорусского шляхтства, это был идеал, за который они стали бы сражаться насмерть — и не против Москвы, а за нее!

Далее, можно было бы вернуть Польше Литву, продемонстрировав ей тем самым добрую волю. Далее — в союзе с императором, казаками и польскими изгнанниками — прогнать Карла X из Варшавы и преподнести ее из своих рук польскому королю. Преподнести, обеспечив себе тем самым если не дружбу, то хотя бы молчаливое признание Польшей новых русских приобретений. И наконец, заключить с нею, истощенной и обездоленной, спасенной, возвращенной из небытия, вечный мир и христианский союз против страшного общего врага — бусурманства.

Если это оказалось возможным в 1686 году — после разгрома под Конотопом и поражений в Литве, после того, как Москва, обессиленная и оскудевшая пустилась в финансовую авантюру и пережила ужасный "соляной" бунт, короче говоря, после того, как она сама оказалась перед катастрофой — то почему невозможно было это в 1656 году, когда Москва была наверху торжества и могла в ы б и р а т ь программу действий?

Но, как мы уже знаем, псевдоабсолютизм тем и характерен, что не следует заранее определенной стратегии, а плывет без штурмана руля и ветрил по воле волн, действует как древний алхимик способом проб и ошибок, сначала совершает ошибки, а потом смотрит, какая из их совокупности получается политика.

И в этом самом 1656 году приняла Москва решение парадоксальное.

Император, не имея возможности помочь полякам войсками помог им, послав в Москву лучшего своего дипломата Алегретти. И поистине, слова оказались на этот раз сильнее пушек. Москва неожиданно отказалась от всех своих завоеваний.

отказалась в обмен на фантастическое обещание избрать после смерти короля Яна-Казимира — на польский престол Алексея Михайловича. Как вы понимаете, никаких гарантий того, что польский король отойдет в лучший мир раньше Алексея Михайловича, Алегретти, естественно, дать не мог. И тем более странным оказывается тогда решение Москвы, опираясь на столь зыбкую перспективу, обратить оружие против шведов!

Хмельницкий, узнав об этих переговорах, отправил в Вильно своих послов. Вернувшись, они рассказали гетману в присутствии всей старшины: "царские послы нас в ~~шпешенштейн~~ по-сольский шатер не пустили, мало того; до шатра издалега не пускали, словно псов в церковь божью. А ляхи нам по совести сказывали, что у них учинен мир на том, чтобы всей Украине быть попрежнему во власти у ляхов". Мудрено ли, что услышав такое, Хмельницкий, как говорит Костомаров, "пришел в умоисступление?" "Дитки, — воскликнул он, — треба отступити от царя, пойдём туда, куда велит Вышний Владыка. Будем под бурсманским государем, не то, что под христианским!"

Москва удовлетворилась включением в царский титул — "всех Великия и Малыя и Белыя России самодержца Литовского, Волынского и Подольского".

На деле она по Кардисскому миру отдала шведам все свои завоевания в Ливонии. По Андрусовскому с поляками — еле-еле удержала только Смоленск и левый берег Украины. А все "Малыя и Белыя", и Литву и Подолию, и Волынь отдала частью туркам, частью полякам.

Поистине, следовало ей теперь, как замечает Ключевский, сказать самой себе то, что сказал Богдан Хмельницкий: "Не того мне хотелось и не так было тому делу быть..."

И смоленская катастрофа и Азовская капитуляция, и польско-шведско-турецкая авантюра 1654–1681 гг. были, как и должны были быть, лишь миниатюрными копиями Ливонской опричной эпопеи. И заслуживает мадригалов в той же степени, что и она.

§ 8. КРЕМСКАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ

С обычным роковым запозданием — через двести лет после первых попыток втянуть ее в европейский союз против турок — необходимость такого союза дошла, после того, как султан вторгся на Украину, наконец, и до Москвы. В 1672 году посланцы ее посетили Париж, Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Гаагу, Берлин, Дрезден, Венецию и Рим.

"В первый раз, — говорит Валишевский, — призыв к крестовому походу шел из того глухого и немого Кремля, где столько раз уже папство и другие христианские державы тщетно пытались пробудить отклик симпатии и солидарности к общему делу". На этот раз истительного промолчала Европа, не успевшая еще освоиться с методом московских импровизаций.

Время, однако, пришло. Поддерживаемая европейским диктатором Людовиком XIV, Турция в последний раз поднялась на Европу. Перед лицом этой азиатской угрозы должны были умолкнуть частные раздоры. В 1686 году Москва вступила в Священный союз Австрии, Польши и Венеции под верховным патронатом папы Иннокентия XI, выторговав себе за это Киев — за 146 тысяч рублей.

Той же осенью в царском манифесте ратным людям сказано было, наконец, открыто такое, за что раньше, случалось, били кнутом и ссылали в Сибирь всяких полулегальных оппозиционеров. То, за что заплатила в свое время карьерой, изгнанием и жизнью Избранная рада. Сказано было, чтоб собирались в поход на Крым и что поход этот предпринимается для избавления Русской земли от нестерпимых обид и унижения. Что ниоткуда татары не выводят столько пленных, сколько иначе, торгуя христианами, как скотом, ругаясь над верою православною.

Сказано было даже то, ^{за} что раньше православным вырывали языки и заливали рты расплавленным оловом: Русское царство платит бусурманам ежегодную дань! По каковой причине терпит стыд и укоризну от соседних государей, а границ своих этой данью все же не охраняет. Ибо хан берет деньги и бесчестит гонцов, разоряет русские города...

Вот как она работает, автократия. Сначала объявляет правду воровством и крамолой, судит за нее, как за государственное преступление. А потом провозглашает ее как собственное открытие.

Но ущерб-то наносит этим она не только невинно пострадавшим и изувеченным пророкам. Ущерб наносит она и стране, которой так некомпетентно управляет. Потому что всегда безнадежно, на десятилетия, а порою, как видим, на столетия запаздывает с исправлением ошибок. Так было и сейчас.

Когда 130 лет назад то же самое говорил Курбский, когда огненным смерчем прошли по Крыму Данила Адашев и Ржевский, когда поднял на перекопцев запорожское войско старый князь-казак Дмитрий Вишневецкий, когда народ, только что сокрушивший Казань, готов был идти в освободительном порыве на Крым, чтоб окончательно покончить с вековым унижением, — тогда порыв его был насильственно погашен, знамя борьбы против татарщины спущено, Курбский заплатил за свою правду изгнанием, Адашев — головой.

Когда 45 лет назад донцы взяли и отстояли от турок Азов, когда депутаты Собора готовы были поддержать их всею московской силой при условии очищения страны от внутренней татарщины, — порыв их снова был погашен, знамя борьбы с татарщиной — не развернуто.

Приговор историков: Грозный был прав и прав был царь Михаил Федорович — Москва не готова была к борьбе с Крымом. Миновали поколения. И что же? Подготовилась за полтора столетия к этой священной войне Москва? Накопила силы, реорганизовала армию, мобилизовала свой интеллектуальный и духовный потенциал?

Да ничего подобного. Когда в челе сотысячного войска выступил весной 1687 года в поход большого полка дворовый воевода, царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель, наместник новгородский Василий Голицын, все было еще гораздо менее подготовлено, нежели весной 1557-го.

И войско запорожское возглавлял не старый энтузиаст

гетман Вишневецкий, а старый мошенник гетман Самойлович, который три года открыто противился этому походу, приводя, между прочим, московским послам те же доводы, что когда-то победоносно демонстрировал Избранной раде Грозный. Самойлович саботировал Крымский поход. Казаки его, как говорили тогда, зажгли степь, чем заставили московское войско повернуть вспять, даже не вступив в соприкосновение с неприятелем.

И главным итогом этого похода неожиданно стала не война с крымцами, а свержение и арест гетмана Самойловича. Так подготовилась Москва к антитатарской войне политически.

Еще меньше подготовилась она к нему в смысле элементарного снабжения, устройства коммуникаций, тактических планов и военной организации. Даром что ли царица Софья в отчаянии от неудачи просила Голицына только теперь, в ходе отступления "построить на Самаре и Ореде города и всякие тягости и запасы и ратных людей по рассмотрению оставить, чтоб вперед было ратям надежное пристанище, а неприятелям страх"?

На протяжении нескольких поколений, отлично сознавая, как ясно стало из его собственного манифеста, нестерпимость и унижительность своего положения, московское правительство ничего не сделало для избавления от него, никак к неизбежной войне не готовилось, ввязываясь в бессмысленные драки то с Польшей, то со Швецией, то с Турцией. И всякий раз — экспромтом. Всякий раз при неблагоприятных для себя обстоятельствах. Всякий раз не готовое к ним ни в политическом, ни в военном, ни в экономическом отношении. Так удивительно ли, что точно таким же крушением, как смоленская война, как польско-шведско-турецкая эпопея, окончился и крымский его экспромт в 80-е годы?

А ведь именно оно, это крушение, и служит главным аргументом апологетов Грозного: раз Москва и 130 лет спустя не смогла взять Крым, то как же было ей ориентироваться на это в середине XVI века?

Опять тот же абстрактный хронологический мотив, совер-

ленно не учитывающий ни связи между внешней и внутренней политикой, ни того, что 130 лет шпунты опричнины не укрепили страну, а ослабили ее, ни того, что татарщину внешнюю невозможно было сокрушить, любовно оберегая татарщину внутреннюю.

Крым удалось Москве взять лишь когда он угас, умер своей смертью. Но сколько до того пролилось еще русской крови, сколько еще русских рабов село в цепях на турецкие галеры, невольно помогая туркам бить своих?

Нет, не один лишь русский интеллект расточала хвастливая московская автократия, но и русскую кровь. За поражение интеллекта в борьбе с автократией, за ее проистекающее из этой пирровой победы неумение исправлять свои ошибки платил безвинно десятками и сотнями тысяч жизней своих сыновей обманутый ею народ, с таким младенческим неведением помогавший ей сокрушать этот интеллект. Вот где была настоящая трагедия русской истории!
